

Владимир Александрович Соллогуб

Большой свет



Владимир Соллогуб

Большой свет

«Public Domain»

Соллогуб В. А.

Большой свет / В. А. Соллогуб — «Public Domain»,

Содержание

Владимир Александрович Соллогуб	5
ПОСВЯЩЕНИЕ	6
I. ПОПУРРИ	7
I	7
II	12
III	15
IV	18
V	20
VI	24
VII	26
II. МАЗУРКА	31
VIII	31
IX	35
X	38
XI	39
XII	44
XIII	46
XIV	48
XV	51

Владимир Александрович Соллогуб
БОЛЬШОЙ СВЕТ

Повесть в двух танцах

ПОСВЯЩЕНИЕ

Три звезды на небе,
Три звезды в душе
Сверкают и блещут
Отрадою нам.
То края родного России звезда.
Звезда то поэзии,
Звезда красоты.
Пусть ведает каждый,
Что их я лучом,
Гордись, осеняю
Смиранный свой труд,
И каждый узнает
От сердца как раз,
Кому я с смущеньем
Свой труд посвятил.

Гр. В. Соллогуб

I. ПОПУРРИ

Je te connais, beau masque. (Bal masque)¹

I

В Большом театре был маскарад. Бенуары красовались нарядными дамами в беретах и бархатных шляпках с перьями. Облокотившись к бенуарам, несколько генералов, поддерживая рукой венецианки, шутили и любезничали с молодыми красавицами.

В углублении гремела музыка при шумном говоре фонтана. В зале и по лестницам толпились фраки в круглых шляпах, мундиры с пестрыми султанами, а вокруг их вертелись и пищали маски всех цветов и видов.

Было шумно и весело.

Среди общего говора и смеха, среди буйных ликований веселой святочной ночи два человека казались довольно равнодушными к общему удовольствию. Один – высокого роста, уже не первой молодости, с пальцем, заложенным за жилет, в лондонском черном фраке; другой – в гусарском армейском мундире, с одной звездочкой на эполетах.

Первый, казалось, пренебрегал маскарадом оттого, что он всего насмотрелся досыта. В глазах его видно было, что он точно так же глядел на карнавал Венеции, на балы Большой оперы в Париже и что всякий напрасный шум казался ему привычным и скучным. На устах его выражалась колкая улыбка, от приближения его становилось холодно.

Товарищ его, в цвете молодости, скучал по другой причине. Он недавно только что был прикомандирован из армии к одному из гвардейских полков и, после шестимесячного пребывания в Петербурге, в первый раз был в маскараде. Все, что он видел, было ему незнакомо и дико.

Черное домино, уединенно гулявшее по зале, подошло к ним и, поклонившись, обратилось к старшему:

– Здравствуйте.

– Здравствуйте.

– Я вас знаю.

– Мудреного нет.

– Вы г-н Сафьев.

– Отгадали.

Черное домино обратилось к младшему:

– Здравствуйте.

– Здравствуйте.

– Я вас знаю.

– Быть может.

– Вы г-н Леонин.

– Так точно.

– А вы меня не узнали?

– Нет.

– Как? право, не узнали?

– Нет.

– Ну, право, так и не узнали?

¹ Я узнаю тебя, прекрасная маска. (Бал-маскарад) (фр.).

– Да нет.

Сафьев расхохотался во все горло.

– Удивительно, как у нас, на севере, скоро постигают дух маскирования! Я воображаю, как всем этим господам и барыням должно быть весело: ходят, несчастные, будто по Невскому, да кланяются знакомым, называя каждого по имени.

– Что же веселого в маскарадах? – спросил простодушно Леонин.

– О юноша, юноша! – отвечал насмешливо Сафьев. – Как много еще для тебя сокрытого и непроницаемого на свете! Тайна маскарадов – тайна женская. Для женщин маскарад великое дело. Что ж ты на меня так смотришь? Слушай. Много здесь женщин и первого сословия, и второстепенных сословий, и таких, которые ни к какому сословию не принадлежат. Иные здесь вовсе без цели – это самые несносные; ты сейчас видел образчик подобных, большею частью добродетельных матерей семейств. Другие здесь с каким-нибудь любовным замыслом: та – чтоб побесить мужа, та – чтоб изобличить предательного капуцина или отмстить вероломной летучей мыши. Большею частью у них у всех есть какая-нибудь зазноба. Они ищут здесь только тех, кого им надобно, а о нас, душа моя, они мало заботятся. Наконец, есть малое число таких, которые вертятся здесь из одних только честолюбивых видов.

– Как это? – спросил Леонин.

– Это самые знатные. У них, видишь, братец, у всех есть мужья. Они хоть мужей-то и не очень любят, да дело в том, что по мужьям и им почесть. Под маской можно сказать многое, чего с открытым лицом сказать нельзя. В маскараде острыми шутками, нежными намеками можно достигнуть покровительства какого-нибудь важного человека. Взгляни на этих черных атласных барынь, которые вцепились под руки этих вельмож и уверяют их в своей любви: поверь, что вся их любезность не что иное, как последствие их дальновидности. Ты еще не знаешь, о юноша мой скромный! о идилический мой пастушок! сколько веса имеют женщины в образованном обществе и сколько расчета в их улыбках.

– Это грустно, – заметил Леонин.

– Что ж делать, везде так!

В эту минуту к ним подошла маска в прекрасном домино, обшитом черным кружевом, с букетом настоящих цветов в руке. Она погрозила Сафьеву.

– Здравствуй, Мефистофель, переложенный на русские нравы! Кого бранил ты теперь?

– Тебя, прекрасная маска.

– Ты не справишься, Мефистофель, ты вечно останешься неумолимым, насмешливым, холодным. Всегда ли ты был таков, Мефистофель? не обманула ли тебя какая-нибудь женщина?

Сафьев закусил губу.

– Меня женщина обмануть не может, – сказал он.

– Не верьте ему, – продолжала маска, обращаясь к Леонину, – он сердитый человек, он обманет вас; он не позволит вам веровать во все хорошее. Побудьте с ним еще – и белокурые волосы и голубые глаза потеряют для вас всю свою прелесть.

– Голубые глаза? – сказал с удивлением Леонин.

– Ну да, вы знаете, те, что вчера были в театре, во втором ярусе с правой стороны, те, что светят в Коломне и так нежно глядят на вас каждое воскресенье во время мазурки...

«Удивительно!» – подумал Леонин.

– Вы в прошлом месяце хотели на ней жениться, да бабушка ваша писала вам из Орла, что вы слишком молоды и что она не согласна. Прекрасно сделала ваша бабушка! Жениться такому молодому человеку – большая неосторожность...

– Да как это вы все знаете? – спросил Леонин.

Домино засмеялось под маской.

– О, это мое дело! Впрочем, если хотите, я вам скажу, что я приехала из Орла, где мне рассказали вашу историю. Я сама живу в деревне около Курска.

Домино продолжало смеяться и, схватив под руку толстого господина с звездой, скрылось с ним в волнующейся толпе.

– Кто эта маска? – спросил в замешательстве Леонин.

Сафьев посмотрел на него с усмешкой и отвечал протяжно:

– Графиня Во-ро-тын-ская.

– Не может быть: она меня не знает.

– И, брат, кого эти барыни не знают? Им только и дела, что затверживать чужие имена да узнавать, кто в кого влюблен и кто кого не любит. Это, может быть, самая занимательная сторона их жизни.

«Странное дело, – подумал Леонин. – Графиня, одна из первых петербургских дам, известная красотой своей и любезностью, и огромным богатством, и высоким значением в свете, бросила взгляд на меня, бедного офицера. Она меня заметила, она знает, что я хочу жениться!.. Странно! очень странно! Какое ей до того дело?»

Я в знатный круг не езжу, сижу себе дома в свободное от ученья время да по воскресеньям вечером бываю в Коломне у Армидиной. Да графиня-то к ним не ездит. Какое же ей до меня дело?»

Леонин невольно приободрился и, положив венецианку на руку, с необычайной решимостью начал ходить по театру, взглядывая храбро на сидящих в бенуарах красавиц, которые, по обозрению его армейского мундира, равнодушно отводили глаза.

Сафьев стоял, сложив руки, спиной к пустой ложе и о чем-то грустно размышлял.

Толпы все мерно волновались вокруг залы. Большая часть масок важно расхаживала одноцветными фалангами и крепким молчанием доказывала свое неоспоримое ничтожество. Другие пищали и бегали, в сопровождении веселой молодежи. В побочных залах множество мужчин и несколько женщин расположились за плохим ужином, и пробки шампанского хлопали об потолок.

Было три часа ночи. Толпы начали приметно редеть.

Кое-где на эстрадах виднелись еще кавалеры и маски попарно, да молодые безбрадые юноши горделиво влачили под руку утомленных собеседниц. Маскарад клонился к концу. Леонин в двадцатый раз обмерял шагами все залы – и все напрасно: никто с ним не останавливался, никто не обращал на него внимания. Ноги его подкашивались от усталости. Ему было душно и становилось досадно. Он собирался уже ехать домой, вспомнив, что рано утром у него ученье, что вставать ему надо с светом, что спать ему придется мало. Лоб его сморщился, брови нахмурились. Вдруг в длинном ряду кресел мелькнуло пред ним черное домино с кружевом.

Отчего, скажите, в воздухе, окружающем прекрасную женщину, есть какая-то магнетическая сила, обнаруживающая присутствие красоты? Сердце Леониана разом отгадало под маской графиню. В каждой складке ее наряда была какая-то щегольская прелесть; маленькой ручкой упирала она голову, с видом очаровательно утомленным, и в наклонении ее на спинку кресел, во всей прелестной лени ее существа была невыразимая гармония...

Леонин трепетно к ней приблизился.

– Вы одни? – спросил он с робостью.

– Да. Я устала, ужасно устала.

Оба замолчали.

– Вы на меня сердитесь? – прибавила графиня.

– О нет, напротив!

Леонин смутился и проклинал свою робость. Мысли как будто нарочно съезжились в его голове. В таких случаях первое слово всегда бывает глупость. Так и было.

– Здесь ужасно жарко! – сказал он.

– Да, – продолжала графиня, – здесь жарко, здесь душно. Меня воздух этот давит, меня люди эти давят...

Жизнь моя нестерпима. Мне душно. Все те же лица, все те же разговоры. Вчера как нынче, нынче как вчера. Вы говорите по-французски?

– Говорю, – отвечал Леонин в смущении. Графиня продолжала по-французски:

– Мы, бедные женщины, самые жалкие существа в мире: мы должны скрывать лучшие чувства души; мы не смеем обнаружить лучших наших движений; мы все отдаем свету, все значению, которое нам дано в свете.

И жить мы должны с людьми ненавистными, и слушать должны мы слова без чувства и без мысли. Ах! если б вы знали, если б вы знали, как надоели мне все эти женщины, все эти мужчины – мужчины такие низкие, женщины такие нарумяненные, и весь этот хаос блестящий меня тяготит и душит. И о нас же говорят, что мы ни чувствовать, ни любить не можем. Но там, где каждый думает о себе, можно ли чувствовать что-нибудь? можно ли любить кого-нибудь?

– Да, – с смущением сказал Леонин, – там, где думает каждый о себе, нельзя любить. Однако ж, мне кажется... я думаю, я уверен... Зачем думать только о себе? Не все люди такие испорченные. Надо избирать людей... Есть души пламенные, которые выше других.

Любовь истинную найти можно; иначе жизнь была бы противоречие божьему велению. Если вы думаете, граф... если вы думаете, сударыня, что нет, что не может быть истинного чувства, вы себя обманываете.

Маска, казалось, слушала молодого человека с удивлением. Или слова его казались ей странными и необыкновенными, или новая мысль занимала ее, только она казалась в порыве сильного внутреннего волнения.

– Вы себя обманываете, – продолжал офицер, – в жизни много хорошего, много отрад... Живопись и музыка – творения гениев, примеры веков... В жизни много хорошего... Правда, я молод еще, но на земле я видел уже много утешительного. Во-первых, женщины... что лучше женщины?

– Женщина, – прервала маска, – хороша только тогда, когда она молода и нравится мужчинам. Женщина – кумир, когда красота наружная придает ей ценность в глазах света. Красота исчезает – и кумир падает, осмеянный своими же поклонниками, и что ж остается тогда? – ничего, ничего, и нас же бранят, о нас же говорят, что мы ни чувствовать, ни любить не можем.

– Но вас же любит кто-нибудь? – сказал робко Леонин.

– Я не думаю, хотя многие стараются меня любить.

Вы меня не знаете, и я могу говорить откровенно; этого давно со мной не случилось... Да, меня многие хотят любить, да я-то им не верю. У всех есть свои причины, свои расчеты... Во-первых, я замужем. Муж меня любит, потому что я ему нужна для общества и света. Потом, один адъютант меня любит, потому что он чрез меня надеется выйти в люди. Потом, любит меня один дипломат, потому что это ему дает особое значение в обществе. Потом, несколько человек меня любят потому, что им делать нечего, потому что они несносны. Вы понимаете, что с такими чувствами мало остается в мире наслаждений.

Мне свет гадок, неимоверно гадок; мне душно и тяжело... а нынче в особенности. Я и сама не знаю, что со мной.

Эта музыка, этот шум – все это расположило меня к безотчетной грусти... Вы меня никогда не узнаете; но я рада, что могла хоть раз высказать свою душу, а вы еще так молоды, что меня поймете... Мое положение ужасно! Быть молодой, иметь сердце теплое, готовое на все нежные ощущения, и предугадывать небо – и быть прикованной вечно на земле с людьми хладнокровными и бездушными, и не иметь где приютить своего сердца!

И нынче как вчера, и вчера как нынче – и не иметь права жаловаться... Я вам кажусь странною, не правда ли?

Что ж делать? Мне только под этой маской и можно говорить откровенно. Завтра на мне будет другая маска, и той маски мне не велено снимать никогда, никогда...

– И неужели, – спросил с участием Леонин, – неужели никогда в мечтах своих вы не подумали о возможности встретить на земле душу созвучную, сердце братское, человека, который бы с восторгом посвятил вам, вам одной всю жизнь свою и был бы вашим сокрытым провидением, и любил бы вас, как любят маленького ребенка, и обожал бы вас с благоговением, как обожают существо неземное?

Маска взяла Леонина за руку и крепко ее пожала.

– То, что вы говорите, – сказала она, – прекрасно...

Кто из нас не мечтал о подобном счастье? Но где найти его? где встретить его? где найти человека, который был бы выше всех мелочных расчетов, наполняющих жизнь, и сохранил бы в общем холоде пламень своей души, и мог бы утешить сердце бедной женщины, и мог бы посвятить ей всю жизнь свою неизменно, безропотно?.. Для такого человека можно всем пожертвовать в жизни и в любви его найти отраду от тяжких горестей. Но есть ли такие люди?.. Я перестала верить, чтоб это было возможно.

– Напрасно! – с жаром подхватил Леонин. – Я сужу по себе. Я не воображаю счастья выше того, как выбрать себе на туманном небе бытия одно отрадное светило. А это светило должно быть и пламень и свет: оно должно согреть душу и освещать трудный путь жизни; к нему прильнешь всеми лучшими помышлениями, ему отдашь все свои силы. Звезда путеводительная, маяк целого существования, оно высоко и небесно; к нему нельзя прикоснуться земною мыслью, но от него ниспадают лучи утешительные, и эти лучи озаряют и живут до гробового мрака.

– А хороша Армидина? – спросила маска голосом, исполненным женского кокетства.

Ведро холодной воды плеснуло на воспламененного корнета.

– Армидина... Почему Армидина?.. отчего Армидина? отчего вы это у меня спрашиваете?

– Да вы влюблены в нее.

– Я влюблен... нет... да... впрочем... я не знаю...

– Я ее, кажется, видела вчера в театре – там, наверху. Белокурая, кажется...

– Белокурая, – отвечал Леонин.

– Как гадок свет! как жалки люди!

Леонин был, без сомнения, прекрасный молодой человек. Сердце его иногда доходило до поэзии, а ум до завлекательности и до остроумия, и что же? От одного прикосновения светской женщины чувство светской суеты начало мутить его воображение! Он вспомнил, бедный, об Армидиных с каким-то пренебрежением. Состояние недостаточное, квартира в Коломне, претензии на прием гостей; мать толстая, по названию Нимфодора Терентьевна; для прислуги казачок и старый буфетчик из дворовых, который вечно кроил в передней разные платья для домашнего потребления, – все это мелькнуло вдруг перед ним карикатурным явлением волшебного фонаря. С другой стороны, блеснул перед ним богатый дворец графини, наполненный всеми причудами роскоши, и в этом дворце, среди роскошных причуд, он увидел графиню прекрасную, нежную, избалованную...

– И я вас более никогда не увижу? – спросил он с грустью.

– Никогда.

– И надеяться нельзя?

– Нельзя.

– Дайте мне хоть что-нибудь на память, вашего знакомства.

Маска протянула букет и встала с своего места.

– Прощайте, – сказала она. – Будьте всегда так молоды, как теперь. И если вы когда-нибудь будете в большом свете, не забывайте, что светские женщины много имеют на сердце

горя и что их бранить не надо, потому что они жалки. О, если б вы знали, чем бы они не пожертвовали, чтобы от тревожного шума перейти к жизни сердца! повторяю вам, чем бы они не жертвовали...

– Ничем! – громко сказал подле них голос.

Маска обернулась. Сафьев стоял подле нее с своей вечной улыбкой.

– Четвертый час, сударыня, – сказал он, – дожидаться вам, кажется, нечего. Прекрасного вашего князя более не будет. Что ж делать! не все ожидания сбываются.

Маска судорожно приложила пальцы к губам и, кликнув бессловесную наперсницу, уединенно дремавшую на стуле, поспешно скрылась в боковую дверь.

Леонин остался против Сафьева.

– Что? – спросил последний. – Не говорила ли она, что ее не понимают, что она ищет высоких наслаждений, что светская женщина жалка, потому что она должна скрывать свои лучшие чувства?

– Ну, так что ж?

Сафьев посмотрел на него с сожалением, а потом засмеялся.

Леонин рассердился и, наняв извозчика, уехал домой.

II

Если б я писал повесть по своему выбору, я избирал бы себе в герои человека с рыцарскими качествами, с волей сильной и твердой, как камень, но с ужасной, таинственной страстью, которая сделала бы его крайне интересным в глазах всех чувствительных губернских барышень. Он любил бы долго и долго. Красавица любила бы его долго и долго. Все шло бы своим чередом. Вот и ручеек, вот и отвесистое дерево, вот и нежные свидания! Тут кстати все, что говорится о любви да о природе. И вдруг вдаль нависла бы туча, загремела бы буря: явился бы отец-злодей, или мать-злодейка, или свирепый опекун, или просто какой-нибудь злодей. Пошли бы препятствия одно за другим, своим классическим порядком, и вот к самому концу, перед последней страницей, небо прояснилось бы, потому что трогательные окончания чрезвычайно приелись публике и не возбуждают более должного сожаления. Злодей вдруг бы усмирился, чета моя обвенчалась. Начался бы свадебный бал – и все были бы счастливы, и я бы очень был доволен собой.

Но увя! я должен выбирать лица своего рассказа не из вымышленного мира, не из небывалых людей, а среди вас, друзья мои, с которыми я вижусь и встречаюсь каждый день, нынче в Михайловском театре, завтра на железной дороге, а на Невском проспекте всегда.

Вы, добрые молодые люди, друзья мои, вы хорошие товарищи, но вы не рыцари древней чувствительности, вы не герои нынешних романов. Вы обедаете у Дюмё, вы вызываете Тальони, вы танцуете с приданным молодых девушек или с значением молодых кокеток. Вы похожи на всех людей, и, сказать правду, таинственности, романтизма я не вижу в вас! Вы – добрые молодые люди, друзья мои, больше ничего! Истина, грозная истина, которой я не смею ослушаться, приказывает мне без ложных прикрас изобразить вас в моем правдивом рассказе.

Было поздно, когда Леонин возвратился из маскарада. Сальная свеча догорала в узенькой передней. Тимофей, слуга его, дремал на стуле.

– Есть что для меня? – спросил Леонин.

– Приказ вашему благородию: ученье в семь часов.

Леонин нахмурился.

– Еще что?..

– Письмо по почте, кажись, от Настасьи Александровны.

– Приезжал кто без меня?

– Приезжал князь Щетинин.

– Хорошо.

Комнатки гусарского офицера, прикомандированного из армии к гвардейскому полку, описывать недолго»

Седла, мундштуки, несколько литографий Греведона, бронзовая чернильница, маленький коврик, статуэтка Тальони, кровать – да и все тут.

Леонин закурил трубку и распечатал письмо.

– От бабушки, – сказал он.

Он начал читать:

«Милый Миша! вот четыре недели, как от тебя ни строчки, ни весточки. Уж не болен ли ты, друг мой? Уж не под арестом ли? Смотри, Миша, не ходи против формы. Оно ведь одно и то же, кажется, что по форме, что не по форме, так зачем же понапрасну казаться виноватым перед старшими? да и славу нехорошую заслужишь.

Слушайся начальников, Миша, берегись дурных советов и дурной компании: дурные люди хорошему не научат...»

Леонин остановился и задумался. «Какое до меня дело графине? К чему это она мне все говорила? Может быть, она заметила, что в театре вчера я глядел на ее ложу, где сидел Щетинин. Верно, я ей понравился, что она говорила со мной, как будто с старинным другом, и подарила свой букет. Таких вещей не дарят людям, к которым совершенно равнодушны. Непостижимо!..»

Леонин продолжал читать.

«Не думай, Миша, что мы, старые люди, таки совсем из ума выжили и говорим один только вздор. Совет наш всегда хорош, даже когда он вам молодым людям, и не нравится. Вот, например, тому назад два месяца, ты сердился на меня, что я не позволила тебе жениться. Ты пишешь мне, что девушка прелестная, и лицо ангельское, и доброта душевная, и тонкая талия, и волосы прекрасные – все так, да ты-то, Миша, что? Когда бедная моя Оленька, твоя мать, скончалась, а отец твой, не в укор будь ему сказано, промотал женино имение, умер вскоре после нее, вы остались на руках моих: брат твой старший, да ты, мальчик пятилетний, да двухнедельная сестра. Вот и принялась я за хозяйство на старости лет, чтоб устроить вам состояньице, чтоб был у вас свой кусок хлеба впереди. Да память-то у меня слаба; дело мое женское и старое: как ни старалась я, а все-таки, и с моим именем, всего у нас душ четыреста с небольшим. Много ли придется тебе, на твою долю? Откуда же прикажешь мне брать доходы, чтоб ты мог жить прилично с женою, как следует дворянину? Да ей всего бы нашего дохода на одни наряды не стало. Ведь я даром что стара, а знаю, что такое жить в столице: и того хочется, и другого хочется. Отчего у того карета, а у меня нет кареты? отчего у той робронд атласный, а у меня нет атласного робронда? Я верю, что девушка прекрасная...»

«Прекрасная, – подумал, вздохнув, Леонин, – что за волосы! Я никогда таких волос не видал. А как говорит, как улыбается! Глаза только, кажется, у нее маленькие... да, точно маленькие. Вот у графини, так удивительные глаза, черные как смоль, блестящие, как звезды... Что пишет еще бабушка?»

«...Девушка... прекрасна... А знаешь ли ты, любит ли она тебя точно? Не мундир ли твой, не наружность ли твоя ей понравилась? Ведь ты, Миша, красавец...»

«И точно, кажется, я очень не дурен, – радостно вспомнил Леонин. – Я и не одной Армидиной могу понравиться. Что еще?»

«Выйдет она за тебя замуж; ты ей приглядишься... будет вам скучно, а потом, чего боже сохрани!.. Нет, Миша, не проси позволения жениться... Не то я позволю, и на старости лет буду плакать над вами...»

«Добрая бабушка! – подумал Леонин. – Вижу ее отсюда, в ее низеньком домике, в ее больших креслах, исхудалую, с очками на чепчике; вижу отсюда, как она медленно перелистывает библию или тихо ведет беседу с сельским нашим священником, отцом Иоанном... Доб-

рая бабушка!.. Да какое графине-то до меня дело? Она знает, что бабушка не позволила мне жениться и знает, что я влюблен в Армидину... Впрочем, влюблен ли я?

Быть может, любовь моя не что иное, как обман воображения. А что? Ведь точно может быть...»

Он читал далее:

«Я иногда думаю, Миша, что меня бог накажет за то, что я тебя любила и баловала больше твоего брата и сестры. Брат твой был уже взрослый мальчик, а сестра еще в колыбели, когда я вас взяла к себе в дом. А ты бегал уже в красной рубашечке, кудри твои вились от природы по плечикам, и ты обнимал меня и сидел у меня на коленях, и целовал меня, и говорил мне: «Я вам, бабушка, помощник!» В то время у соседки моей и доброй приятельницы Гориной родилась вторая дочь, Наденька, и мы, шутя, просватали вас друг за друга. После стали говорить об этом чаще и обменялись словами. Года два назад бедная Горина скончалась – дай бог ей царствие небесное! Перед смертью я навестила ее, и мы разговорились о вас. «Поручаю тебе мою Наденьку, – сказала она. – Пускай выбирает она себе мужа по сердцу – это мое последнее приказание. Если Миша твой ей слюбится, пусть будут они счастливы. Богатства для нее не надо.

Все мое имение ей. Сестра ее богата и дорого купила свое богатство; но была ее воля: я дочерей своих ни к чему не принуждала».

Ты был тогда в губернской гимназии, Миша; после ты вступил в полк и давно не видал моей Наденьки.

А Наденьку с нянькой Савишной взяла теперь в Петербург сестра ее, которая там за каким-то знатным. Вот тебе невеста, Миша, так невеста! Ей было тринадцать лет, когда она от нас уехала; собой красавица; дочь моего друга; имение небольшое, но прекрасное, незаложенное, и нрав прекрасный, и неизбалованная, и непричудливая.

Вот невеста тебе, Миша! Ты видишь, что все счастье мое состоит в твоем счастье. Не пеняй на меня, если порой придется выговорить тебе неприятное слово. Поверь, мой друг, все это к твоему же добру. Теперь послужи, а женитьба не уйдет. Берегись дурных людей, а пуще всего карточной игры. Ходи по праздникам и по воскресеньям к обедне. Не ходить к обедне – грех: не бери его на душу. Хотелось бы и мне съездить помолиться за вас в Киев, Печерской богоматери, да в Воронеж, святому угоднику... Не знаю, как соберусь силами да деньжонками. Годы, сам ты знаешь, какие: рига сгорела, яровых как не бывало. Ты служишь в Петербурге, тебе нужна лошадка верховая, и санки, и все, как прилично офицеру; сестра твоя не нынче, завтра невеста: не с пустыми же руками отпустить ее в чужой дом. Брату твоему старшему в отставке скучно; пришло ему на мысль завестись в деревне охотою: на все деньги, а делать нечего, надо же молодому человеку чем-нибудь потешиться. Я было уговаривала его еще послужить, да он отвечает, что служба ему не годится.

Впрочем, все у нас благополучно, все идет по-старому. В воскресенье был у нас храмовой праздник. Ожидали преосвященного, только он не пожаловал. За обедней отец Иоанн, который тебе кланяется, говорил нам трогательную проповедь своего сочинения. После молебна обедали у меня соседи Лидарины, Митровихины да старушка Бобылева; был также судья, отставной капитан-лейтенант, прекрасный человек, был в Америке и все рассказывает о морской жизни.

Вот тебе все мои новости, Миша; у нас, деревенских, много не наслышишься. Целую тебя заочно. Посылаю тебе родительское благословение. Дай бог тебе быть веселым и здоровым. Берегись простуды, молись богу и не забывай старушку бабушку твою Настасью Свербину».

«Почему уговаривала меня графиня, – думал Леонин, – пожалеть о светских женщинах, если я буду в большом свете? Следовательно, я могу быть в большом свете? Да для чего же нет?.. Собою я, говорят, хорош, танцую весьма порядочно, да и в обществе я довольно ловок: в мазурке у Армидиных меня то и дело что выбирают... Что, если б я точно графине понравился – вот было бы счастье! На меня смотрели бы с завистью все гвардейские франты, все

парижские фраки, которые так сильно около нее увиваются... И я, бедный, забытый офицер, с одного бы шага стал выше всех их... Стоит попросить только Щетинина: он представит меня во все лучшие дома... И там я буду видеть графиню...»

С сладкою мечтою лег он спать, но долго глаза его не смыкались.

Он не был еще до того развращен или опытен, чтобы желать сделать себе из женщины пьедестал для своего возвышения. В графине прежде всего видел он ее красоту, ни с каким из сновидений его не сравнимую. Глаза ее жгли сердце его. Звучный, тихий голос ее волновал воображение его. Он был молод, он был влюбчив...

Уже звезда Армидиной тихо закатывалась на небосклоне его помышлений и величественно подымалось на нем яркое светило очарований графини, озаряя его новым, незнакомым светом. И вдруг от нового светила пала на его сердце одна искра и глубоко заронила в него. Увы! то была искра честолюбия. Как ни совестно мне сознаваться в слабостях моего героя, а истины не смею утаить. Не знаю, почему с образом графини свилась в голове пылкого корнета завлекательная мысль о возвышениях и отличиях. Быть может, это оттого, что он засыпал, но ему казалось, что графиня ему улыбалась, что он с любовью устремил на нее свои взоры и тихо на нее упирался, и что все она была хороша, и пышна, и очаровательна, и все ему тихо улыбалась, и что уж он был адъютантом у бригадного, а там флигель-адъютантом и полковником с крестами на шее... и вот произведен он в генералы, в генерал-лейтенанты, в генерал-адъютанты, в генерал-губернаторы, в министры...

Андреевская лента величаво покоилась на его плече, когда он заснул...

Тщетно Тимофей тащил его за ноги и кричал ему на ухо, что семь часов, что пора одеваться и ехать на ученье. Полусонный, он вытолкал Тимофея в двери и заснул крепко-накрепко, с чувством какого-то нового достоинства.

Пробуждение было довольно неприятное...

Вестовой из полка принес приказание: «Корнету Леонину немедленно явиться в полковую канцелярию для объяснения по делам службы». Объяснение было самое краткое: полковой командир, не допустив виновного до себя, отправил его на три дня под арест.

Скучно под арестом! Голые стены, истертые кожаные кресла, по углам шаркают крысы; в другой комнате крупно насоленные шутки солдат; жизнь вседневная останавливается, а шум людской дразнит за окошком.

Леонину стало грустно. К вечеру он тихо дремал, опершись на раскрытую книгу... Вдруг громкий хохот разбудил его: Щетинин в лядунке через плечо и в шарфе, как дежурный, вел за собой Сафьева, оба смеялись.

Сафьева вы уже знаете; с Щетининым позвольте вас познакомить.

III

В Петербурге почти все молодые люди похожи друг на друга: у всех одинакие привычки, одинакие хватки, один и тот же портной; одна и та же прическа, те же разговоры, то же образование, почти тот же ум.

Заметьте в мазурке, при некоем повороте: все одинаково как-то прихлопывают каблукми, и во французской кадрили все как-то одинаково непринужденно машут правой рукой.

В большом свете все они чрезвычайно приличны.

С математической точностью знают они, где стать, где сесть, где поклониться, где говорить и где молчать. Тактикой гостиных обладают они вполне. Между товарищами – дело другое: фраки долой, мундиры нараспашку.

Тут стараются они выказываться добрыми малыми. Карты на стол – подавай лишь шампанского. Тут все добрые малые, с первого до последнего.

И что всего страннее: тот же самый франт, который, за полчаса пред тем, в перетянутом мундире или в перекрахмаленном галстуке казался робок и неприступен, как красная девица, вдруг делается отчаянным крикуном, бранит принужденность гостиных и шумит один за трех армейских майоров.

Все они разделяются на два класса: военных и статских. В Москве есть еще один класс, который и не военный и не статский, который ходит в усах, в шпорах, в военной фуражке и в венгерке, но это до нас не касается: мы говорим единственно о молодых людях петербургских. Степень взаимного уважения, разумеется, светского, определяется, как и следует, между ними большим или меньшим богатством. Если один из них имеет свою карету, собственного повара, щегольски отделанную квартиру и абонированное кресло, то он может быть уверен, при порядочном имени, что займет почетное место среди петербургской молодежи.

Таковыми преимуществами Щетинин обладал вполне.

К тому же отец, бывший некогда посланником, оставил ему большое достояние, никем не оспариваемое, а природа одарила его прекрасной наружностью и пылким, прямым умом. С детства попал он в стихию большого света, воспитывался за границей, приехал потом в Петербург и с первого шага занял между великосветскими юношами одно из первых мест. Свет был для него дело обыкновенное, к которому он привык; свет был ему и непротивен и не увлекателен, и не удивлял его, только часто не находил он в нем многого, а чего именно – долго не постигал.

Зато никто не умел так почтительно кланяться старым дамам, так откровенно шутить и смеяться с молодыми. Каламбуры его повторялись во всех гостиных.

Приглашения на пышно-дружеские обеды сыпались на него дождем. Все невесты улыбались ему приветливо, иные даже – спаси меня господи от прегрешения и клеветы! – вертятся с ним, в минуту рассеянности тихо пожимали ему руку. Замужние дамы имели всегда для него на бале местечко подле себя за ужином; одним словом, он был предводителем всех кавалеристов северной столицы.

Между товарищами, кроме должного богатству его уважения, он был искренне любим и был действительно добрый малый, иногда даже слишком добрый малый, потому что пылкая природа заносила его слишком далеко. Ни в какой шалости не отставал он от своих однослуживцев. В карты мог он играть по целым ночам сряду, бутылку шампанского – извините за историческую точность – мог выпивать, хотя-нехотя, но с одного раза; а как пойдут удалые анекдоты и беранжеровские песни, то громкий хохот товарищей возглашал ему всегда торжественное одобрение.

Но был ли он доволен собой в чаду своих успехов – не знаю. По крайней мере, нередко находила на него хандра неописанная. Тогда догадывался он, что в дружбе друзей его промелькивала зависть; что в приветствиях молодых девушек скрывалась тайная мысль о выгодном женихе; что светские дамы заманивали его в свои сети» потому что он в моде; что он родня целому свету и что подобная победа заставила бы всех соперниц по чепчикам и по красоте умереть с досады. Тогда голова его склонялась от пустоты и усталости; тогда хватался он за грудь и чувствовал, что в ней билось сердце, созданное не для шума и блеска, а для жизни иной, для высшего таинства, – и тяжело было ему тогда, и хандра налагала на него свои острые когти. Но он, стыдясь ее, с сердцем, ноющим от скуки и горя неразгаданного, продолжал вести с товарищами жизнь разгульную и молодецкую, а в свете любезничать с дамами и щеголять напрапалую.

Так прошло много лет. Щетинин дожил до той неприятной эпохи, где человек замечает, что он начинает стареть. Он влюблялся как мог и где мог, но он столько знал свет и жизнь, что не мог влюбиться не на шутку, и по истертой колее продолжал путь своей жизни, иногда забывая о нем, иногда проклиная его от души.

Однажды (это было летом) на маленькой даче, примыкающей к пышной даче графини Воротынской, был шумный холостой обед; смех и вино оживляли собеседников. После обеда сели играть в карты, заварили сженку. Нагрязнула новая молодежь – и пошла потеха.

Щетинин сидел на первом месте, пил, что наливали, и проигрывал более всех. Долго тянулась игра. Всю ночь напролет тряслись окошки от шумной беседы; всю ночь были слышны песни и восклицания пирующих. Когда все расстались, на дворе было совершенно светло.

Щетинин, желая освежиться прохладой утреннего воздуха, отправился на свою дачу пешком.

Утро было чудное. Солнце, тихо подымаясь, весело играло утренними лучами по пестрым крышам припевских дач. Деревья едва колыхали вершинами. Птички перелетали с ветки на ветку. Цветы, распускаясь, улыбались сквозь слезы росы. Воздух был свеж и чист и благоуханен. Вправо, на зеленой лужайке, паслось пестрое стадо. Вдали шли крестьяне на дневную работу, да священник шел к ранней обедне.

Щетинину стало совестно. С досадой вспомнил он глупую свою ночь, вспомнил раскрасневшиеся лица своих приятелей и жадность, с которою они кидались на мелки, чтоб записывать его проигрыш. Целый вечер, проведенный в разгульном забытии, показался ему так гадок, так унизителен перед величественной, божественной картиной, которая развивалась в глазах его.

В эту минуту порхнула перед ним девочка лет тринадцати, которая весело неслась за бабочкой. Прелестное ее личико разгорелось от бега, волосы развевались по ветру; она смеялась и прыгала, и кружилась легче мотылька, своего воздушного соперника. Никогда Щетинин не видел ничего лучше, свежее этого полужемного существа. Оно как будто слетело с полотна Рафаэля, из толпы его ангелов, и смешалось с цветами весны, с лучами утреннего солнца, для общего празднования природы.

Душа Щетинина стала светлее и как будто расширилась.

Слеза повисла на его реснице; долго он стоял очарованный и с жадностью следил, как милое дитя прыгало и несло все далее и далее, и мелькало вдали среди душистых кустов.

Есть минуты в жизни, которые не знаменуются ни сильными переверотами и никакими внешними особенностями, со всем тем они делаются для нас точками светлыми, незабвенными, неизгладимыми.

Отрадные впечатления чудного утра врезались в душе Щетинина; он сохранил их, как святыню, которую прячешь от неверующих. Правда, он никому в том не сознался и ни за какие сокровища в мире не открылся бы он лучшему другу. Как человек светский, всего более страшился он насмешек, а ничто их так не навлекает, как простосердечное сознание в истинном, сердечном впечатлении, и с той поры Щетинин сблизился с графиней Воротынской, и скоро молва назначила его в числе ее поклонников. Графиня сперва с ним пококотничала, а потом, уверившись в его постоянстве и не теряя его из виду, обратилась к другим с своими невинными нападениями.

Но модный князь искал другого, искал лучшего и не мог отдать себе отчета в странном чувстве, которое им овладевало. Он – владыка моды, пред которым трепетали люди женатые от страха, люди холостые – от зависти; он, ничему и никому не веривший, он, ничего и никого не любивший, он, князь Щетинин, выжидал, с нет выразимым волнением и трепетом, минутных, редких появлений маленькой девочки в белом платьице, в черном передничке, с необходимым приседанием, с неизбежной гувернанткой, и чувствовал сам, не понимая почему, как, при виде ее, душа отдыхала от тяжелой усталости.

Девочка, явившаяся ему в светлое утро, была сестра графини!!

В минуты шумных наслаждений света он сам иногда смеялся над собою, но когда ему было грустно, когда он уединялся в своих мыслях, он всегда призывал милое видение, и тогда тихо над ним веял детский образ, который нечаянно дополнил ему в незабвенное утро все красоты природы и все отрады Провидения.

Так между двойственной жизнью провел он быстро два года. Никто не подозревал и никому на мысль не приходило подозревать его тайну. Впрочем, он продолжал свой прежний род жизни: ездил в общества и не отставал от товарищей. Мы остановились на том, как пришел он с Сафьевым навестить Леонина под арестом.

IV

Allwissend bin ich nicht, doch viel ist mir bewußt.
(*Mephistophelles. Faust. 1 Aufz.*)²

- Что, брат, попался?
 - Видишь, братец, сижу... Делать нечего. Был вчера в маскараде, а нынче проспал ученье.
 - Вольно же тебе ездить в маскарады! По-моему, нет ничего скучнее: ходишь себе на рассвете с какой-нибудь старушонкой да удивляешься своему счастью...
 - Зато, – прибавил насмешливо Сафьев, – вы, может быть, душа моя, сделались поверенным важных дамских секретов.
 - Послушай, Щетинин, – спросил Леонин, – ты член английских гор?
 - Да. Хочешь, я тебя запишу?
 - Сделай одолжение.
 - Хорошо. Да к чему оно тебе? Холод пристрашный; того и гляди, что заморозишь пальцы или какой-нибудь ловкий барин сломает тебе шею.
 - Все равно. Скажи, пожалуйста, какие теперь визитные карточки в моде: с гербами или без гербов?
 - И, братец! Будто не одно и то же?
 - Кажется, что с гербом и золотыми буквами: оно красивее. Их, кажется, у Беггрова заказывают?
 - У Беггрова.
 -
 - Послушай, не хочешь ли, как меня выпустят, поехать со мной по Невскому верхом?
 - Нет, брат, слуга покорный: боюсь простуды.
 - Ты бываешь у графини Б. на ее раутах?..
 - Бываю.
 - А у английского посланника ты бываешь?
 - Бываю.
 - Как бы перейти мне в гвардию?
 - А что?
 - Да так... Меня, может быть, пригласят на бал во дворец.
 - Может быть.
 - Скажи, пожалуйста, ты видел, как я танцую мазурку?
 - Не помню, право.
 -
 - А что ты думаешь, можно мне будет пуститься в мазурку?
- Щетинин посмотрел на Леонина с удивлением.
- Что это с тобой? Откуда эта светскость? Уж не вздумал ли ты пуститься в свет?
 - А что?.. А что?.. разве это невозможно? Разве ты находишь, что я недостойн? А я думал, что ты еще поможешь мне: у тебя так много родни и знакомых. Тебе бы легко было меня представить в лучшие дома.

² Я не всеведущ, я лишь искушен. (Мефистофель. «Фауст». Ч. I.) Пер. Б. Пастернака».

Щетинин покачал немного головой.

– Не советовал бы я тебе...

– Ты отказываешься? – прервал Леонин полуобиженным тоном.

– О, нет! представить могу я тебя кому хочешь; во-первых, всем моим кузинам. Надобно тебе сказать, что в Петербурге у меня кузин целая пропасть: княгиня Галинская, княгиня Красносельская, графиня Воротынская...

– Графиня!.. – закричал Леонин, и весь жар молодости отразился на его щеках. – Ты повезешь меня к ней – она примет меня? Я буду ее видеть? Я буду говорить с ней?

Щетинин улыбнулся. Оба начали курить, и оба задумались.

О чем могли они думать, молодые люди, – нетрудно отгадать. Когда молодой человек курит и думает, то верно положить можно, что в тумане беглых помышлений его мелькают и блещут кудри шелковые, глаза томные, ножки сильфидины – все прелести, все очарования.

Графиня во всем блеске своей красоты являлась Леонину, прекрасная и лучезарная, и как будто манила его за собой в раззолоченные чертоги петербургских вельмож. Леонин мысленно горделиво любовался ею...

О чем же думал Щетинин? Нам, которые нескромно подняли кончик завесы тайны его, догадаться нетрудно.

Он видел перед собой белое платье, волосы, приглаженные за ушами, черный передник, пальчик немного в чернилах, взор потупленный и стыдливый, девочку в пятнадцать лет, в той поре, когда она уже не дитя и еще не женщина, в той поре, когда ей надобно еще учиться, а уже хочется на бал.

Сафьев нетерпеливо барабанил пальцами по окошку; наконец, с взглядом истинного сожаления, обратился он к Леонину:

– Итак, душа мой, вы пускаетесь решительно в свет? Скоро вы решились... Берегитесь, молодой человек: плохо вам будет; у вас нет ни знатного батюшки, ни знатной матушки, которые могли бы вас выдвинуть вперед...

– Я не прошу увещания, – сказал Леонин.

– Бог тебе судья! – сказал Сафьев. – Но я так давно шатаюсь по свету и по светам разных столиц, что по этой части мои советы могут только принести большую пользу всякому дебютанту. Вот тебе мое родительское наставление и необходимые правила до вступления твоего в санкт-петербургский Faubourg St. Germain³. Во-первых, вальсируй мастерски: в свете для бедного человека это единственное средство выйти в люди; волочись всегда за самыми первыми и важными красавицами – слышишь ли? Бог тебя сохрани из неуместной скромности стать в мазурке с каким-нибудь уродом в газовом платье; это могут себе позволить лишь устарелые мазу-т ристы. Для начинающего подобная неосторожность может быть пагубна... Не говори почти ничего или говори вещи самые обыкновенные. Пускай думают, что ты немного глуп: это тебе не повредит, напротив... Будь всегда одет по строгой форме; не позволяй себе ни цепочек, ни лорнетов, никаких вычур армейских франтов, ничего, одним словом, что б заставило тебя заметить. Светской моды ты никогда не достигнешь, но ты можешь достигнуть привычки, то есть к тебе привыкнут, и место твое навсегда будет тебе назначено в четвертой или пятой паре всех мазурок, а имя твое смешано с теми, о которых вспоминают накануне бала и которые забываются на другой день...

Главное дело: не кажись искательным, не торопись знакомиться со всеми; не кланяйся никому низко; танцуй себе да молчи. Знакомства и приглашения придут сами по себе постепенно, тем более, что какая-нибудь дама возьмет тебя под свое покровительство, а прочие пожелают отнять тебя у нее. Но помни одно: цель твоя не может быть та, чтоб о тебе говорили:

³ Предместье Сен-Жермен (фр.)

c'est (in jeune homme distingue⁴. Оставь это людям богатым и людям с истинным гением. Вся цель твоя заключается в том, чтобы молодые дамы говорили о тебе: il est vraiment gentil⁵, а чтоб мужья отвечали им, беспечно зевая: oui... c'est un joli danseur pour un bal⁶. Когда же ты укоренишься на своем месте, всё вообще прозовут тебя le petit⁷ Леонин, и ты, мой бедный petit Леонин, будешь petit Леонин до восьмидесяти лет. Вот тебе вся карьера твоя. Засим даю тебе мое родительское благословение!

Делай как знаешь. Пора мне ехать домой пообедать.

У меня вино чудесное, а ростбиф такой, что в Лондоне бы на диво. Поедем, Щетинин, обедать.

– Нет, брат, я отозван.

– Как досадно, душа моя! Я не могу обедать один.

Это единственная минута, в которую я имею надобность в людях.

Он взял шляпу и ушел.

– Эгоист! – сказал Леонин.

– Чудак! – сказал Щетинин. – А говорит правду.

Впрочем, я от своего слова не отступаюсь... На будущей неделе у тетки моей большой бал. Если хочешь, я могу достать тебе приглашение.

– Ты меня много обяжешь, – сказал Леонин, пожав ему руку, а потом прибавил мысленно: «Я ее увижу... а там... что будет, то будет...»

V

Представьте себе теперь комнатку Наденьки, комнатку маленькую, о двух окошках с белыми занавесками.

В углу несколько кукол подле толстых лексиконов; у стенки столик с тетрадами и маленьким альбомом. Рядом ширмы и зеркало, а за ширмами кровать.

Не правда ли, в этой комнатке веет какой-то душевной прохладой? В ней, кажется, воздух чище, свет светлее. Все носит в ней отпечаток таких свежих, непорочных впечатлений...

На креслах сидела Наденька и задумчиво перебирала иссохшие цветы, высушенные ею в «Русской грамматике» Греча.

У дверей стояла старушка Савишна, с повязанным на голове платком, и молча глядела на задумчивое личико своей барышни.

Девочка к ней обернулась.

– Что, нянюшка?

– Ничего, сударыня... так... поглядеть пришла на вас. Мадам-то, видно, в гости уехала. Да какое им другое дело, нанятым, прости их господи, как только что по гостям рыскать; а о том не подумает, что вас одних оставляет. Хороши они все!.. Пришла понаведать вас, сударыня, не нужно ли чего...

– Мне скучно!.. – сказала девочка и грустно взглянула на старуху.

– То-то, родная моя!.. А мне-то какво?.. Жила себе век в деревне, с своими, по-своему, и вот на старости лет перетащили меня, старуху неразумную, в Питер, в знатный дом, где все на иностранный лад, и люди-то все иностранцы. Да еще по-немецки хотели меня нарядить.

⁴ Знатный молодой человек (фр.).

⁵ Он положительно мил (фр.).

⁶ Да... он прекрасный кавалер (фр.).

⁷ Малыш (фр.).

Видно, и к летам-то почтения нет никакого. Статочное ли это дело?.. Намедни еще графинины горничные так и пристают, чтоб я чепчик надела. Нет, уж как им угодно, а этакого стыда я на себе не допущу.

– В деревне было лучше? – сказала девочка.

– Как не лучше, сударыня? То ли дело: там все свое. Была бы охота, а работы вдоволь; скуки не узнаешь. И в амбар-г-о, и на птичник, и на кухню, и рыжики то солить, и варенье-то варить, и наливки-то настаивать... Что и говорить! В деревне – там житье; а здесь сидишь себе, сложив руки, как негодная какая, да хлеб только даром ешь.

«В деревне было лучше, – думала Наденька, – в деревне можно было бегать без позволения гувернантки.

В деревне весной распускались деревья. В деревне было весело и свободно. В деревне был свой маленький садик, свои цветы; была своя лошадь, была своя коричневая Корова...»

– Няня, ты помнишь мою коричневую корову?

– Как сударыня, не помнить! с белыми пятнами...

Чай, присмотря за ней теперь нет никакого. И в доме то, я думаю, все повибаскали да поломали. Да что и говорить! Все пошло вверх дном с тех пор, как скончалась матушка-барыня – дай бог ей царствие небесное и жизнь вечную!

Нянюшка вздохнула и перекрестилась. Девочка не отвечала ничего: на глазах ее навернулись слезы.

– Ну, и было всегда с кем слово молвить, – продолжала нянька, – не так, как здесь, с этими лакеями, что в позументах ходят да о театрах толкуют... Пойдешь, бывало, к пономарихе или к дьячихе побеседовать; дьячиха-то такая веселая, не видишь, как время проходит; а потом, в праздник, поедешь в гости к соседям, вот хоть к Фоминишне, что у Свербиной в ключницах. Сидишь себе да разговариваешь; иной раз и сама старая барыня выйдет: «А! Савишна! здорово, мать моя...» – «Здравствуйте, матушка Настасья Александровна». – «А что, Савишна, все ли у вас здоровы?» – «Слава богу, матушка Настасья Александровна». – «Ну, смотрите ж: напоите Савишну чаем. Она у меня гостя». – «Много довольна, матушка Настасья Александровна, благодарим покорно за ласковое слово...» Вот барыня так барыня, не так, как здешние, прости господи! Русская барыня, набожная, нами, бедными людьми, не брезгает. Дай бог ей много лет здравствовать!..

Наденька задумчиво перебирала иссохшие цветы. Перед ней тоже развивалась картина прошедшей деревенской жизни.

Там, на берегу реки, перед густой рощей, серенький домик с зелеными ставнями... В том домике началась ее жизнь. Маленькая, помнила она, что у нее была старшая сестра, и что все говорили, что сестра ее красавица, и что точно она была красавица. Потом, помнила она, что много к ним ездило военных офицеров, но один чаще всех. Вдруг приехал какой-то господин в карете.

Сестра ее три дня плакала. Офицер сердился и кричал, а потом уехал и не возвращался более. После церковь была освещена. Господин стал с сестрой перед налоем.

Ей сказали, что это свадьба. Потом сестра села с господином в карету, и уехала, и с тех пор осталась она одна с матерью своей, и жизнь их была тихая. Езжали они иногда к Свербиной по соседству, а больше оставались дома; и были у нее свои овечки, своя лошадка, своя коричневая коровка с белыми пятнами, и был у нее свежий воздух, и сельская свобода, и жила она жизнью полей.

И минуло ей двенадцать лет. О, это она живо помнила! На дворе была осень. Снег бил хлопьями об тусклые окна. Было грустно везде. Мать ее сделалась больна...

Погода сделалась хуже... Мать ее слегла в постель. Долго ходила она за ней, долго подавала она ей лекарства и не спала ночей у ее изголовья... Зима наступила; такой ужасной зимы она не видывала... Мать подозвала ее к себе, положила ей на голову исхудалую руку, благосло-

вила и начала дышать тяжело. Потом занавесили в комнате зеркало, поставили среди комнаты стол, на стол положили ее заснувшую мать, бездвижную и холодную. Пришел священник в черной рясе. Положили мертвую в гроб, унесли ее и положили в землю, и в сером домике осталась девочка одна-одинехонька с нянькой Савишной, которая повязала голову черным платком и каждый день ходила с девочкой в церковь молиться и плакать над свежей могилой.

При этой мысли Наденька взглянула с невыразимым чувством детской любви на старую няньку.

– Ты меня не оставила, няня! – сказала она. – Ты приехала со мною в Петербург, когда сестра меня к себе вытребовала. Ты не хотела со мной расстаться!

– Что ты, что ты, сударыня?.. грех какой! Покойница меня даром, что ли, жаловала? Что я, неблагодарная разве какая? Нет, как мне подчас и ни приходится скорбно, а все-таки от тебя, мое красное солнышко, ни на шаг не отстану.

«И на что променяла я свою прежнюю жизнь! – думала Наденька. – На душную комнату, где окошки занавешены, где нет мне простора. Едва летом, на даче, могу подышать свободно и весело, да и тут мешает мне теперь madame Pointue: все ходит за мной и говорит: «Держитесь прямо. Не смейтесь. Не говорите громко. Не ходите скоро. Не ходите тихо. Опускайте глаза...» Да к чему это?.. Хоть бы поскорей быть совсем большой!

Когда я буду большая, – сестра мне говорила, – я с ней буду ездить в большой свет. Там должно быть очень весело: уж, верно, весело, потому что сестра каждый день туда ездит. Буду я в театре, буду на балах, буду танцевать с военными кавалерами. А хотела бы я знать, о чем говорят они, когда танцуют?.. Верно, все о любопытном...»

– Няня, дома сестра?

– Кажись дома, сударыня. В колокольчик ударили: ничто, видно, гость какой наверху.

Наденьке запрещено было ходить к сестре, когда были гости, но ей так на одном месте соскучилось!.. Madame Pointue не было дома. Лицо ее развеселилось, и, легкая, как птичка, она выпорхнула из комнаты.

Графиня сидела на диване у мраморного камина, уставленного бронзами. Кругом ее, на столиках, на этажерках разбросаны все роскошные безделки моды: старый саксонский фарфор, малахиты, веера, дантановские бюсты, кипсеки и целая куча воспоминаний о Карлсбаде, о Вене, о Париже, в виде альбомов, граненых стаканов, китайцев и чернильниц без чернил.

Комната вообще отделана с великолепием. В окна вставлены настоящие стекла средних веков с изображениями из католических легенд и рыцарской жизни; роскошные обои покрыты картинами знаменитых художников; на мягком ковре разбросаны в разных направлениях гениальные творения Гамбса; наконец, на письменном столике, украшенном письменными излишествами венского мастера, разбросано несколько французских романов и, прошу заметить, единая русская книга, весьма удивленная тем, что находится впервые в столь блестящих чертогах.

Против дивана, на котором небрежно наклонилась графиня, на маленькой кушетке в виде буквы S, полусидел, полулежал Щетинин, в сюртуке, и занимался с графиней светской болтовней...

– Что нового?

– Да говорят, С. к празднику будет камергером. До сих пор многие двери были для него запорты: авось ключ их откроет.

– Еще что?

– Свадьба в городе. Княжна Б*** решается выйти за своего постоянного обожателя.

– Да она терпеть его не может и два года смеется над ним!

– Это ничего не значит. Он получил наследство, а княжна обогатилась годами. Вчера была помолвка, а нынче она так страстно влюблена, что не надивятся.

– Бедная княжна! Впрочем, свадьба во всех отношениях приличная.

– Поговаривают еще о другой свадьбе, – продолжал Щетинин, – говорят, что два миллиона приданого выходят за приятеля моего, князя Чудина.

Графиня злобно взглянула на Щетинина, а потом улыбнулась.

– Неправда. Это пустые толки. Он и не думает о том:

– Кстати, – сказал Щетинин, – поздравляю вас с новой победой.

– Кто такой?

– Приятель мой, Леонин, который, кажется, с ума сходит... Вы помните, тот самый армейский, к нам прикомандированный, о котором вы намеренно спрашивали с таким любопытством. Он не дает мне покоя, все упраскивает, чтоб я его втолкнул в свет и в знать. Коломенская страсть забыта, ТЛ при вашем имени он смущается и краснеет, как школьник.

«Леонин... – говорила про себя графиня. – Леонин.

Так это точно он... внук Свербиной...»

Она вынула из черного ларчика несколько писем старинного и вовсе не щегольского почерка и, разбирая их, вздохнула глубоко.

– Что это за нежная переписка? – спросил Щетинин. – Неосторожно такие вещи читать при свидетелях.

– Это письма покойной матушки, – отвечала печально графиня, – это последняя ее воля.

Щетинин опустил голову и замолчал, но светская его веселость вскоре опять взяла верх.

– Что же прикажете мне делать с Леониним? – спросил он.

– Привезите его непременно на бал в пятницу и представьте мне. Мне нужно узнать его покороче...

– О-о-о! – сказал Щетинин. – Куда девать вам их всех? И без того у вас целое стадо безнадежных вздыхателей.

– Полноте шутить! Я прошу вас о том не в шутку.

– Слушаю, очаровательная кузина! Вы знаете, что для вас я готов все сделать. Хотите, я поеду обедать к Ф. и буду разбирать с ним каждое блюдо поодиночке?

Хотите, я целый день проведу с устаревшими поклонниками вашими, из которых один открыл Англию, а другой Италию? Хотите, я поеду в русский театр? Хотите, я буду играть в вист с вашей глухой тетушкой, а потом поеду слушать стихи Л... и повести С-ба?... Все жертвы готов я вам принести. Прикажете только – и я буду танцевать... что я говорю, танцевать! я буду влюбляться во всех уродов, которыми так расточительно изобилует наш прекрасный Петербург...

Щетинин вдруг остановился в порыве своего светского злоречия...

Малиновая занавес двери тихонько приподнялась, а за нею показалась прелестная головка Наденьки, которая боязливо озиралась вокруг. Щетинин вскочил с своего места. Все мишурное его красноречие исчезло; он смутился и молчал.

Графиня с неудовольствием взглянула на сестру. Появление Наденьки рушило одно из ее заблуждений.

Чтоб это вполне истолковать, надо сперва вникнуть в сущность жизни светской красавицы. Тесный круг, в котором она сияет, – ее царство, красота ее – венец, толпа обожателей – ее подданные. Потому все другие женщины ей – соперницы, а другие красавицы – природные враги, которые силою прелестей грозят отнять у нее и царство и подданных.

Графиня не любила Щетинина и, как всем и всякому было известно, явно кокетничала с князем Чудиным, но не менее того князь Щетинин, как мы видели выше, был лестным достоинством для модной женщины. Графиня видела его у ног своих с чувством особого удовлетворенного самолюбия – и вдруг истина обнаружилась; при первом движении Щетинина, с этим инстинктом, которым одарены одни женщины, она разом отгадала его тайну, а притом заметила, в первый раз, что сестра ее уже не ребенок и что скоро, очень скоро, Наденька затмит ее своей красотой.

– Надина, madame Pointue уехала?

– Уехала, маменька.

Наденька называла сестру свою маменькой.

– Поди-ка сюда да сядь с нами. Вы, князь, сестры моей не знаете? Позвольте мне вам ее представить.

Щетинин неловко поклонился.

– Я имел уже честь...

– И, полноте!.. Она еще ребенок... Я думала, что вы еще ее не видали.

Графиня пристально взглянула на Щетинина. Щетинин покраснел. «Черт побери эту женщину! – подумал он. – От нее ничего не скроешь!»

Наденька простодушно глядела на офицера и припоминала, как она встретила его однажды, в одно прекрасное утро, на даче, где ей привелось побегать еще по-прежнему.

Графине было чрезвычайно досадно.

– Вы удивительно расположены нынче, – сказала она, – всем досаждают. Ваша шутка уничтожает, как ножик; против нее нет защиты. Недаром прослыли вы таким злым человеком! Осмеять друзей своих, родных – для вас ничего не значит! Да и то правда, вы никого не любите?..

– Я люблю друзей своих, – отвечал вспльчиво Щетинин, – вот хоть князя Чудина, например. Поверьте, что все советы мои могут только клониться к его пользе.

– Надина, прикажи, чтоб закладывали карету, да ступай одеваться: я возьму тебя нынче с собой.

Наденька вышла.

– Не правда ли, что она очень хороша? – спросила с улыбкой графиня.

Щетинин, в знак согласия, кивнул головой.

– Еще дитя, кажется, а вообразите, уж помолвлена...

– Помолвлена! – воскликнул Щетинин.

– Да. Это тайна, разумеется; но вам, как родному, ее можно поверить. Не говорите только о том никому...

А что, Тальони танцует сегодня?..

– Танцует... кажется...

– Приходите ко мне в ложу...

Оба встали.

В это время Наденька тихо возвращалась в свою комнату.

– Няня! – спросила она. – Ты знаешь князя Щетинина, который бывает у сестры?

– Видала, кажется, чернобровый такой.

– Няня, говорят, что он злой человек.

– Быть может; да какое нам, матушка, до них дело?

– Жалко, няня!

– И, матушка, Христос с ними!

VI

Ах, та chere⁸, какая она жантильная!
(*Институтский Словарь*)

Mlle Armidine, первая красавица целой Коломенской части, была точно очень недурна собой. Влюбчивые флотские капитан-лейтенанты рассказывали о ней в Кронштадте товари-

⁸ Моя дорогая (фр.).

щам с удивительным жаром; многие столоначальники, даже несколько начальников отделения нередко задумывались о ней, согнувшись над делом и забывая нужную для доклада справку. О ней и в Измайловском полку поговаривали с удивлением; о ней и на Васильевском Острове упоминали с завистью. Она точно была очень недурна собою, но, сказать по секрету, красоте ее вредила какая-то странная жеманность и принужденность в обращении. Она говорила с ужимками, делала маленький ротик, шурила глаза, притворялась слабонервной и чувствительной, одним словом, всячески старалась подражать обветшалым манерам, которые она предполагала в дамах высшего круга.

Мать ее, Нимфодора Терентьевна, вдова промотавшегося откупщика, была добрая, толстая женщина, созданная гораздо более для Москвы, чем для Петербурга.

Верная старине своей, она не изменила костромского образа жизни и не заразилась заморскими причудами: ела за обедом огромные кулебяки, пила после обеда квас, бранилась за картами и, по преданию всех матерей, имеющих товар, готовый для сбыта, давала каждое воскресенье вечеринки для сбора женихов – хитрость старинная, не всегда удачная, но в большом употреблении в Коломне и в Москве.

В Петербурге, как, может быть, известно вам, образованный класс (я разумею людей чиновных, дворян, служащих и отставных, одним словом, сословие более или менее классное) разделяется на различные слои. Высший присвоил себе название хорошего общества, а прочие гнездятся около него и всячески, как *m-lle Armidine*, стараются ему подражать. Эти второстепенные общества как будто карикатуры первого: они тоже имеют своих красавиц, своих франтов – все то же, только в другом размере. Малодушное тщеславие, которое в высшем обществе прячется под золото одежды и мишуру разговора, тут явственнее и досадней: тут только и речи, что о знати да о чинах, да о знатном родстве, да о будущих милостях; о том, кто получит ленту, о той, кто будет к празднику фрейлиной, да о платье такой-то графини, о парике такого-то князя; одним словом: все хочет казаться значительнее того, чем бог создал. Со всем тем вы тут найдете ту же зависть, те же расчеты, которые господствуют в первом обществе, но не найдете того лоска образованности, той непринужденности *de bon ton*⁹ – извините за слово, – которые исключительно отличают избранных высшего круга.

Леонин, прошедший детство свое под крылышком бабушки, а потом в губернской гимназии, не имел понятия о подобных подразделениях. Быв, при самом приезде в Петербург, представлен в дом Нимфодоры Терентьевны одним из своих товарищей, он был чрезвычайно счастлив, что мог влюбиться в существо столь отличительное, столь идеальное, как *m-lle Armidine*. Она была такая очаровательная, она так мило выговаривала *monsieur... Leonine*, она так мило рисовалась поэтической, воздушной, неземной... Корнетское воображение разгорелось, и Леонин каждое воскресенье выпрашивал себе мазурку и, облачаясь на стул коломенской Сильфиды, тихо шептал ей о счастье супружества, о рае взаимной любви. Тогда речь его была восторженна, мечты пылкого сердца изливались звучными словами, и он яркими красками изображал, как сладко любить в жизни и как сладко жить вдвоем.

Но был ли он влюблен точно?

Я, по известным причинам обязанный знать все его тайны, должен откровенно сознаться, что нет. Чувство его было какое-то тревожное, полуребяческое, девятнадцатилетнее, которое в каждой хорошенькой женщине ищет осуществления своей мечты; к тому же вкрадывалось и лестное очарование удовлетворенного самолюбия.

Хотя *m-lle Armidine* была до крайности воздушна, но не менее того мысль о замужестве имела для нее, как и для всех барышень, особую завлекательность. Она глядела иногда на Леонина так томно, так томно, а потом вздыхала... И лучшая ее улыбка была для него, и самое задумчивое слово было для него... «Бедная девушка, как она влюблена! – думал Леонин. –

⁹ Хорошего тона (фр.).

Она мне неограниченно отдала свое сердце, она любит меня до безумия... и неужели я буду неблагодарен? Нет, вопреки бабушке, вопреки целому свету я должен оправдать ее доверие... Я женюсь на ней, я хочу на ней жениться, я должен на ней жениться!..»

Так прошло несколько месяцев. А пока... молодой корнет огляделся, получил понятие о другой сфере, сделал некоторые знакомства, между прочим, с Сафьевым, который, по необыкновенной в таком человеке странности, чрезвычайно полюбил его и начал объяснять ему жизнь по-своему.

И вдруг на вечеринках в Коломне не стало моего Леонина... Прошло несколько воскресений сряду – и стул подле m-lle Armidine не был уже занят пламенным корнетом. M-lle Armidine была расстроена и смеялась еще принужденнее, чем прежде.

А Леонин, неблагодарный Леонин, переставал постепенно о ней думать. Развлечения Петербурга все более и более его завлекали, заглушая внутренний голос совести, укоряющей его грозно в предосудительном поступке с семейством, где он был обласкан и принят как родной. Знакомство с графиней довершило неблагодарность.

Он представил себе, как сладостно, как неизмеримо упоительно быть втайне любимым подобной женщиной и быть ей светлою отрадой между блестящих мучений и улыбающегося горя великосветского быта!

Приглашение на бал княгини было доставлено Щетининым. Наступил день бала.

VII

Галантерейное обхождение...
(«Ревизор», д. II, явл. I)

Выразить ли вам, с каким трепетом он подъезжал, в своей наемной карете, к иллюминированному крыльцу?

Для него начиналась новая жизнь, и он чувствовал, что новая жизнь его будет не без трудов, не без огорчения; но вдали, между яркими приманками, сиял чудный лик графини, и он с гордостью чувствовал в себе столько страсти, столько любви, чтоб всем пренебречь и утешить ее в светском одиночестве. Он живо припомнил всю страстную исповедь ее бесстрастной жизни. Он мысленно повторял слово в слово все, что он слышал от нее во время маскарада, когда душа ее, вся непонятная ее душа выражалась тихими жалобами и просила высших наслаждений, и просилась к чудному небу любви непонятной и бесконечной.

Карета подъехала.

У подъезда стоял квартальный и толпился народ.

Лестница, устланная пестрым ковром, была с низа до верха покрыта душистым лесом растений и цветов – целое лето среди трескучих морозов. На ступеньках чинно стояли по два в ряд разряженные лакеи в бархатных ливреях, с княжескими гербами. Леонин прошел далее.

Залы штофные, мраморные сияли одна за другой тысячами огней. Вельможи, в звездах, толпились около карточных столов. Вдали раздавались увлекательные порывы бальной музыки. Женщины, покрытые брильянтами, увенчанные цветами, в тканях прозрачных и воздушных, порхали по зеркальному паркету под шумный говор пестрой толпы, среди целого хаоса перьев, аксельбантов, орденов, лорнетов и довольных лиц.

Северные красавицы! петербургские красавицы! светлые воспоминания! зачем останавливаются имена ваши на устах моих и я не смею изобразить вашу стройную толпу в моем рассказе? Сколько вас на бале! одна подле другой, одна лучше, другая прекраснее! Глаза разбегаются, сердце рвется на части, а душа всех вас обнимает... Тут и вы, черноокая краса севера: на вас забываешь смотреть, чтоб вас слушать, забываешь вас слушать, чтоб на вас посмотреть! Тут и вы, Эсмеральда, воздушная, как мысль, беззаботная, как счастье! Тут и вы, краса Герма-

нии, – и вы, царица пения, отголосок юга на севере, – и вы, волшебница красоты, чарующая в волшебном своем замке, – и вы, с которой я вальсировал так много прежде, – и вы, которую я любить не смел, – и вы, которую я звал настоящей, потому что соперниц не могло вам быть! – все вы тут, все прекрасные, незабвенные – и бедный мечтатель стоит пораженный перед вами, с любовью и благоговением.

Каково же было Леонину?..

Из маленькой комнаты Армидиных, где шесть пар приезжих из губерний барышень прихрамывали кое-как в контрдансе, под звук уныло расстроенных фортепьян, вдруг перейти в идеальный мир волшебства, где все – цветы и золото, и красота, где все для глаз, все для чувств, все для наслаждения.

Он не помнил, как Щетинин подвел его к хозяйке, не помнил, что он ей поклонился, что она ему сухо кивнула головой и что он отошел в сторону; он помнил одно...

Глаза его среди пестрой толпы остановились на графине. Подле графини стоял Щетинин.

Щетинин казался чрезвычайно весел и, схватив Леониного под руку, подошел с ним к красавице.

– Очаровательная кухня! – вот вам рекрут, приятель мой Леонин.

Как хороша была графиня! Как прозрачен газовый тюник, удержанный на пышном белом платье цветами и изумрудами! На груди брильянты вокруг огромных изумрудов; над полуспуценными перчатками блестящие браслеты; на голове изумруды и цветы.

Леонин робел и снова, как и в первый раз, чувствовал себя смешным и неловким.

Графиня прелестно улыбнулась... Какая женщина не чувствует своего могущества? Она сказала несколько слов про жар, про давку, про усталость и число ожидаемых балов, и сказала так весело, так мило, что бедный корнет не верил своим ушам. Перед ним стояла та самая женщина, которой сердечный вопль так сильно потряс его душу. Судя по недавним впечатлениям, он воображал ее неловко-грустною и рассеянною в общем шуме, с тяжким горем в душе – а в ней ничто не обнаруживало ни малейшего волнения; она была вся олицетворенный бал, без скрытой мысли, довольная настоящим, не видя ничего далее первого вальса, ничего выше стен бальной залы. Он уже думал, как говорить ей о возмездиях любви небесной, а она беззаботно играла веером и говорила ему шутливо:

– Хотите танцевать со мной третью?..

Леонин вспомнил тогда об окружающей толпе. Он взял графиню за руку и с трудом упрочил себе местечко, где едва, следуя правилам кадрили, мог он повернуться с своей дамой. При появлении его легкий шепот пробежал по строю танцующих:

– Кто этот офицер?

– С кем танцует графиня?

– Откуда он?

– Что он?

– Кто его представил?

– Представил его князь Щетинин. Зовут его m-г Leonine.

– А что такое m-г Leonine?

– M-г Leonine – больше ничего.

– А!!

Кадриль началась. Леонин приободрился и начал говорить с графиней о зимних удовольствиях, о балах, о маскарадах...

– Вы любите маскарады?.. – спросил он тихо.

– Я? – сказала графиня, взглянув на него с простодушием ребенка. – Вообразите, что я не знаю, что такое маскарад. Я боюсь масок и сама, как меня ни уговаривали, никогда не могла решиться надеть маску... Это настоящее ребячество.

Леонин изумился. Голос, который с ним говорил, был, без сомнения, голос незабвенного домино. «Неужели, – подумал он, – владеет графиня до такой степени способностью откровенно говорить неправду?»

За ним раздался голос.

– Здравствуйте, графиня!..

Генерал, обвешанный орденами, со шляпой, закинутой под мышку, подошел к красавице, закручивая усы.

Леонин обмер: это был начальник его, который, говоря военным слогом, распекал его на всяком ученье. Он уже хотел было отступить, но генерал дружески потрепал его по руке, скромно спросив:

– Я не мешаю?

– О, напротив!

– Никак нет, ваше превосходительство!

– Знаю, прекрасная дама: вы хотели бы видеть здесь не меня, седого старика, – продолжал генерал, приосанившись молодцом.

Графиня вспыхнула.

– Не бойтесь... Скромность – достоинство стариков... Ваш наряд нынче удивителен, как всегда. Моды и сердца признают вас своей повелительницей. Кроме одного человека, здесь, кажется, все одного мнения.

– Право?

– Все, кроме одного, – Кроме кого же?

– Разумеется, кроме вашего мужа, – отвечал, рассмеявшись, генерал.

– У меня до вас просьба, генерал, – сказала графиня.

– Прикажите только. Вы знаете, что я покорный раб ваших повелений.

– Приезжайте ко мне завтра. Если вас не пугает быть со мной наедине, то я жду вас перед обедом.

– Ради стараться!

Генерал с видом весьма довольным закрутил усы и скрылся в толпе.

– Вам надо перейти в гвардию, – сказала графиня.

– Да, мне обещано... Только, говорят, очень трудно.

– Я попрошу его завтра об этом. Хотите мне поверить ваши деда?

– Как, вы хотите быть столько добры?..

Леонин взглянул на графиню с упоением.

«Как хороша! – подумал он сперва, а потом прибавил: – А я буду в гвардии».

В эту минуту кто-то взял его за руку.

– Здравствуйте, душа моя!..

– Сафьев...

Графиня поспешно отвернулась. Сафьев стоял перед ней с своей вечной улыбкой, с пальцем, задетым за жилет. Кадриль кончилась. Сафьев взял корнета за руку, и оба вышли в боковую гостиную, где они уединенно расположились на штофной кушетке.

– Мне кажется, душа моя, – сказал Сафьев, – что ты действительно глуп. Как можно бегать за светской женщиной, да еще избалованной и прекрасной! Чего ты хочешь? чего ты ищешь?.. Да знаешь ли ты, что такое светская женщина? – существо равнодушное, полупла-тье и получепчик. Она живет только поддельным светом, украшается поддельными цветами, говорит поддельным языком и любит поддельную любовь. Поверь мне, братец, все это вздор! Влюбиться в Петербурге, в обществе бесстрастном – непροститительно...

– Что ж делать! – отвечал Леонин. – Я чувствую себя под влиянием какой-то сверхъестественной силы.

Я вижу, что графиня не то, что я воображал прежде, и не менее того она мне еще больше нравится, чем когда-нибудь. Судьба моя – любить графиню... Не смейся надо мною. Мне и сладостно и горько, но я чувствую, что я не могу ее не любить.

– Но взгляни вокруг себя. Как, неужели не приходило тебе на ум, что любовь в гостиной имеет что-то карикатурное? Вообрази себе пышную комнату с ковром, с обоями и картинами; на штофных креслах сидит дама – хорошенькая, правда, немного поддурманенная, с узкими рукавами, в перьях, в брильянтах... против нее, на других штофных креслах, сидит франт, сорвавшись с последней модной картинки, в высоком галстухе, в желтых перчатках, с лорнетом, с головой завитой, как пудель... и вот они говорят о-бенефисе, говорят о свадьбах, о новостях, а потом слегка коснутся до непонятных чувств сердца – и это любовь? и это не опротивело тебе, душа моя? и ты храбро принял на себя плаксивую роль вздыхателя? И чего ты надеешься?... Думаешь ли ты постоянством дойти до того, что любовь твоя проникнет сквозь блонды и бархат в сердце той, которую ты любишь?

Вздор опять. Здешние женщины взволнованы все какой-то беспокойной заботливостью. Подойди к любой, скажи ей несколько слов и наблюдай за ней – она отвечает тебе и улыбается тебе, а глаза ее разбегаются по пестрой толпе и ищут новых взоров, новых впечатлений. Все они похожи друг на друга. Улыбка тебе, и то мгновенно, а желание или болезнь нравится не для тебя, бедного франта, с твоею любовью, с твоим постоянством, а для всех – слышишь ли? для всех желтых перчаток, для всех аксельбантов, для всех эполет...

Тут Сафьев заметил, что Леонин не слушал его более.

Бал горел ослепительным светом, пары кружились в шумной мазурке. Наступала пора, когда все лица оживляются, когда взоры становятся нежнее, разговоры выразительнее. Лядов заливался чудными звуками на своей скрипке. В воздухе было что-то теплое и бальзамическое.

Казалось, жизнь развертывалась во всей красоте.

– Любили ли вы когда? – говорил на ухо графине высокий адъютант, играя кончиком своего аксельбанта. – Любили ли вы когда? – повторил он, поглаживая усы... – Любили ли...

Молодая женщина прижала веер к губам, рассеянно бросила взгляд на свой наряд и отвечала вполголоса:

– Не знаю.

Адъютант провел рукой по воротнику.

– Как, – сказал он, – это не ответ!

– Вот что, – прервала графиня, – вы несносны с вашими вопросами. Я с вами никогда танцевать не буду.

Какое вам дело, любила я или нет? Скажите мне лучше что-нибудь новенькое. Где вы были сегодня? кого видели?

– Я дежурный нынче. Кроме просителей, не видел никого.

– А нынешний год нет английских гор?

– Нет. А вы любите английские горы?

– Без памяти. Отчего их нет нынешний год?

– Не знаю. А жаль!

– Очень жаль... Как... жарко!

– Очень жарко.

– Кто начнет мазурку?

– Саша Г.

– Нам делать фигуру.

Графиня выбрала Леонина, который, стоя в уголку, пожирал ее глазами.

Бал все более оживлялся. Северные красавицы порхали по паркету; гвардейские мундиры и черные фраки скользили подле них, нашептывали им бальные речи; несколько генералов толпились у дверей, держась за рукоятку сабли и приложив лорнеты к правому глазу.

Опершись у колонны, высокий молодой человек, разряженный со всей изысканностью английского денди, смотрел довольно презрительно на окружающую толпу; сардоническая улыбка сжимала его уста. Он в мазурке не участвовал.

– Сомнение или надежда? – сказал вдруг флигель-адъютант, подводя ему двух дам.

– Сомнение, – отвечал он небрежно.

Выбранная дама улыбнулась.

– Вы, кажется, сентиментальничаете с вашим адъютантом, – сказал насмешливо князь Чудин, едва шагая по паркету. – Берегитесь: он человек ужасный.

– Он надоел мне, – отвечала графиня, – он такой скучный.

– А скажите, пожалуйста: кто этот робкий юноша, в первый раз показавшийся нынче в свет под вашим крылом?

– Прекрасный молодой человек, семейный наш приятель. Он чрезвычайно мил и умен. М-г Leonine.

– Право?.. радуюсь вашей находке.

«Хитрость моя удалась, – думала графиня: – ему досадно... ему очень досадно!»

Леонин стоял у ее стула.

– Графиня, – сказал он, – вы со мною танцевать больше не будете?

– Попурри хотите?.. – сказала она.

«Я счастлив, невероятно счастлив! – думал, отходя, Леонин. – Я ей понравился».

Мазурка превратилась уж в вальс. Локоньки развились по плечам. Многие разъехались. Двери ужиной залы распахнулись.

Лядов опять заиграл... Начался попури.

В зале было тогда свежо. Немного пар кружилось в упоительном вальсе. Леонин несся, как будто не касаясь земли. Графиня легко упиралась на его руку, и оба, трепещущие от удовольствия, оживленные своею молодостью, неслись весело на паркету. И Леонину было так хорошо, так сладостно, что голова его терялась, и ему чудилось, что он перенесся в другой мир, где упоительные звуки подымали душу его выше облаков.

II. МАЗУРКА

VIII

*Vanitas!*¹⁰.

Промчалось два года. Петербург все весел и танцует по-прежнему. Несколько новых морщин появилось на лицах наших друзей и знакомых. Красавицы наши немного подурнели, франты наши поистожили немного своей любезности. Несколько особ, к которым мы привыкли по месту их в первом ряду кресел во французском театре, несколько женщин, с которыми мы недавно еще шутили и любезничали на бале, вдруг выбыли из семьи большого света и улеглись на душных могилах в Невской Лавре, оставив по себе лишь несколько условных восклицаний сожаления в устах мгновенно опечаленных друзей. Петербург все весел и танцует по-прежнему. Новые лица, новые женщины заняли опустевшие места в театре и на бале; новые толки, новые сплетни занимают петербургское общество, которое, как парадная свадьба, переносясь каждый вечер из дома в дом, по-старому выказывает свои чепцы и фраки, по-старому оживляется при звуках скрипки или засыпает над бесцветностью светской болтовни.

Случалось ли вам когда-нибудь прислониться к стенке и всматриваться во все эти странные лица, которые, как будто в угоду вам, вертятся перед вами с такими милыми улыбками, с такими чистыми перчатками? Случалось ли вам стараться разгадать все пружины, которые заставляют их двигаться? О! если б вникнуть в судьбу каждого: сколько непонятных тайн вдруг бы обнаружилось! Сколько развернулось бы разительных драм! Что если б, подобно тому, как мы видели в «Хромом колдуне», театр наш вдруг обернулся к вам задом и, вместо пышных декораций, вдруг увидели бы мы одни веревки да грубый холст? Я думаю, что смешно и страшно видеть большой свет наизнанку! Сколько происков, сколько неведомых подарков! сколько родных и племянников! сколько нищеты щегольской! сколько веселой зависти...

И все идет, все стремится, все бежит вперед...

Вперед, вперед... выше, выше... А куда вперед, куда выше? – неизвестно. Одно слово все живит и двигает.

И такое слово!.. самое бессмысленное – тщеславие!

Итак, тщеславие – вот божество, которому поклоняется столичная толпа! Житель степной деревни не может постигнуть, сколько занятых рублей, сколько грядущих урожаев уничтожается в один вечер для пустой чести занять почетное место между людьми, которых вовсе не любишь, а иногда и не уважаешь. А что еще хуже, сколько людей, которые во всей своей жизни, без свое бытности, без достоинства, стремятся к внешним лишь отличиям, занемогают от зависти при повышении в чин своих сверстников и умирают несчастливые, сердитые, недовольные, не достигнув своей недостижимой цели, которой они пожертвовали всей жизнью, не насытив вполне своего ненасытимого тщеславия!..

Такое общее стремление великосветского сословия легко может объяснить характер нового лица, которого мы не видали еще в моем рассказе. До сего времени я говорил лишь о графине, а о графе ни полслова. Дело обыкновенное: когда глядишь на жену, не хочется думать о муже!

Но теперь, хотя-нехотя, а пора нам вызвать графа и посмотреть на графа в частной его жизни.

¹⁰ Суета!.. (лат.).

Вы его, вероятно, знаете или знали в минуту, когда он был перед вами. После вы его забыли, потому что резкого в нем ничего нет. Лицо его обыкновенное, разговор обыкновенный; он самый обыкновенный человек между самыми обыкновенными людьми, но он всегда подле какого-нибудь значительного, как необходимый отблеск светского величия. Он смеется лишь шуткам первых трех классов; он играет в вист только с министрами; он приглашает к обеду одни лишь звезды да толстые эполеты; о нем говорят как о дополнении к прочим лицам, но никто о его единственности никогда не думал.

Граф Воротынский провел первую молодость свою в Петербурге гвардейским офицером старинных времен; потом, когда отец его умер и наследство досталось ему в руки, он из казарменных повес вдруг переродился во фрак, заграничным Ловеласом, и пустился бегать за удовольствиями и хвастать своими победами.

Так прошло несколько лет между чувствительными баронессами карлсбадских вод и закулисными богинями маленьких театров. Усталый от жизни счастливого волокиты, граф возвратился разочарованным щеголем в Петербург.

Тогда заметил он с огорчением, что все сверстники его первой молодости давно уже обогнали его на стезе почестей и отличий и что иные даже говорили ему тоном покровительства.

Граф не был дурной человек, не был человек глупый, но был человек тщеславный. Ему было нестерпимо досадно ничего не значить там, где все значат что-нибудь. Он решился если не догнать своих соперников, то по крайней мере присвоить себе то, для чего еще по-русски нет, слава богу, названия, а что по-французски называется *une position dans le monde*¹¹. Случай прекрасно послужил его намерению. Для некоторых хозяйственных распоряжений отправился он в свои деревни и там, в соседстве, увидел красавицу, перед которой он остановился с изумлением и радостью. То не был трепет любви, но опытный расчет прозорливого тщеславия. Как человек много видевший, он высоко ценил могущество прекрасной женщины в свете. Владелец большого родового имения, не вполне еще задавленного долгами, супруг жены-красавицы, с щегольским домом и с хорошим поваром – для него открывалось самое блистательное значение в петербургском обществе. Правда, что аристократическое чувство его немного страдало. Но кому придет в голову в Петербурге расспрашивать: кто был дед его жены, если жена его красавица? А когда она будет носить его имя, разве нельзя будет облечь прошедшее тайной непроницаемой?..

Предложение было сделано. Граф слышал также, правда, стороной, что девушка отдала сердце свое какому-то офицеру, но граф его не боялся. Неужели звучное имя, большие доходы и все приманки света не превозмогут очарований провинциальной любви? К несчастью, он не ошибся. Несколько дней прошло в мучительной борьбе, и наконец бедная девушка отказала своему жениху и согласилась на предложение графа. Скоро их обвенчали, утром, осенью.

В церкви было пусто. В уголку лишь стояла маленькая девочка с нянькой Савишной, и обе плакали – старушка потому, что ей жаль было своей барышни; дитя – потому, что ей жаль было, глядя на старушку. И в то же утро граф сел с молодой супругой в дорожную карету и навсегда умчал ее из деревни, где она жила так долго, без суетных прихотей и мелких требований света.

Прочь от меня мысль опорочить мою графиню!

Прочь от меня злое намерение оклеймить ее презрением и бросить на суд чувствительных барышень. Увы! все в мире шатко, все в мире непродолжительно! Не браните молодую девушку, которая предпочла блеск и шум тихой семейной жизни. Увы! мы до того жалки, что еще заранее разгадываем будущие судьбы своего сердца... Графиня моя, бедная, не нашла в себе довольно твердости, чтоб счастливо и безропотно провести жизнь свою с армейским май-

¹¹ Положение в свете (фр.).

ором, в душных избах, на военных квартирах, в кампанентах среди непрерывных беспокойств бедной и бивачной жизни.

Любовь ее была ленива. Она испугалась усталости и глупой существенности. Жизнь по бархату, по золоту лукаво ей улыбнулась. Бедная женщина заплакала и протянула ей руки... Бедная графиня!.. Но я опять забыл о графе, а граф необходим для моего рассказа; делать нечего, войдем в его покои.

Все в них пышно и великолепно, везде бронзы, картины, везде чудеса моды и искусства, но, рассматривая внимательно все драгоценности графского дома, наблюдатель с первого взгляда заметит, что все это собрано в блестящую кучу не для собственного наслаждения хозяев, не для домашнего уюта, а для пустой выставки, для ослепления посетителей, одним словом, для роскоши парадной, самой глупой из всех роскошей.

В прекрасном кабинете, уставленном шкапами с неприкосновенными книгами, на восточном диване лежал граф в бархатном халате и казался очень расстроен. Он перебирал в руках листок парижского журнала, но мысль его была далека от прений французской политики. Казалось, он ожидал кого-то и в беспокойном ожидании невольно бормотал несвязные слова.

– Отказать или не отказать? Человек, как я, не должен компрометироваться. Я откажу, решительно откажу... Просто-таки откажу. Ну, а если хуже будет?

Скажут, что я отказал? Ну, каково же будет, если узнают, что я отказал? Да и жена моя... Что скажут? Не отказать – нельзя, решительно нельзя. Человек, как я... Люди, как мы... Нельзя...

Вдруг в соседней комнате послышались шаги. Граф вскочил с дивана. Дверь отворилась, и Сафьев вошел в комнату.

Оба поклонились друг другу учтиво, сухо и не говоря ни слова. Графу было как будто неловко, а Сафьев казался важнее обыкновенного.

Наконец он начал.

– Г-н Леонин, – сказал он, – сделал мне честь выбрать меня в свои секунданты.

Граф поклонился и отвечал немного смутившись:

– Вам известно, что я... что мы... что Щетинин просил меня...

– Я для этого и имею честь быть у вас. Наше дело условиться о времени и месте поединка, выбрать pistols и поставить молодых людей друг перед другом.

Граф побледнел. Что скажет граф Б.? Что скажет граф Ж.? Человек, как он, замешанный в подобную историю!.. Если о ней узнают, ему навек должно бежать из Петербурга.

– Вы полагаете, – прошептал он с усилием, – что нет возможности помирить молодых людей?

– По-моему, – небрежно отвечал Сафьев, – всякая дуэль – ужасная глупость, во-первых, потому, что нет ни одного человека, который бы стрелялся с отменным удовольствием: обыкновенно оба противника ожидают с нетерпением, чтоб один из них первый струсил; а потом, к чему это ведет? Убью я своего противника – не стоил он таких хлопот. Меня убьют – я же в дураках. И к тому же, извольте видеть, я слишком презираю людей, чтоб с ними стреляться.

Сафьев пристально взглянул на графа. Граф еще более смутился.

– Есть такие обиды, – продолжал Сафьев, – которые превышают все возможные удовлетворения – не правда ли?..

– Может быть.

– Например, отнять невесту. Иной за это полезет стреляться, будет выть, как теленок, и сохнуть, как лист, – не правда ли... я у вас спрашиваю: не правда ли?.. Так... Ну, а по-моему, первая невеста в мире не стоит рюмки вина, разумеется, хорошего! женщин обижать не надо... Впрочем, не о том дело. Я вам должен сказать, что юноша мой очень сердит, не принимает объяснений и хочет стреляться не на живот, а на смерть.

Завтра утром.

- Завтра утром? – повторил граф.
- За Волковым кладбищем, в седьмом часу.
- Но... – прервал граф.
- Барьер в десяти шагах.
- Позвольте... – заметил граф.
- От барьера каждый отходит на пять шагов.
- Однако... – заметил граф.
- Стрелять обоим вместе. Кто даст промах, должен подойти к барьеру. Разумеется, мы будем стараться не давать промахов.
- Но нельзя ли... – завопил граф.
- Насчет пистолетов будьте спокойны: у меня пистолеты удивительные, даром что без шнеллеров по закону, а чудные пистолеты.

Граф был в отчаянии.

Отказаться вовсе от участия в поединке было ему невозможно; с другой стороны, будущность его развертывалась перед ним в самом грустном виде. Вся светская важность его исчезла, и, по мнению света, из людей значащих и горделивых он вдруг делался мальчиком, шалуном, секундантом на дуэлях молодых людей. Во всяком случае, надо было бежать из Петербурга, тогда как обещан ему был золотой мундир и министр два раза приглашал его обедать.

Вдруг дверь распахнулась, и графиня в утреннем наряде, с длинными висячими рукавами, в кружевном маленьком чепчике, всегда прекрасная, всегда пышная, вошла в комнату.

– К вам от министра приехал нарочный, – сказала она, обратясь к мужу. Граф бросился к передней.

Графиня подошла к Сафьеву.

– Завтра, – проговорила она поспешно, – завтра они должны стреляться? Ради бога, помешайте им!

– Славный у вас дом! – отвечал беспечно Сафьев. – Я в первый раз имею счастье быть у вас. А все как следует: лакированный подъезд, толстый швейцар с перевязью и дубиной. Славный швейцар!

Графиня продолжала:

– Ради бога, не допустите их стреляться! Это от вас зависит.

– И к тому ж, – заметил Сафьев, – на лестнице статуи; и ковер очень хорошего выбора. У вас, графиня, много вкуса, я никогда в том не сомневался.

– О, если бы вы знали, как я мучусь! Я всю ночь не спала.

– Несмотря на то, у вас цвет лица прекрасный, и платье у вас удивительное, и чепчик тоже чудо. Надо вам отдать справедливость, графиня, вы славно одеваетесь.

Графиня закрыла лицо руками и заплакала. Сафьев, задев палец за жилет, стоял в молчании подле нее и насмешливо улыбался...

– Что угодно вам от меня? – спросил он наконец, смягчив немного свой голос.

– Помешайте им стреляться! помирите их!

– И, графиня! У нас в Петербурге стреляются много на словах, а на пистолетах немного охотников. Мы, люди степенные, знаем, что это глупость. И к чему заниматься вашему сиятельству такими страшными предметами? У вас, может быть, платье не готово к завтрашнему балу, или, чего боже сохрани, вы, может быть, еще не знаете, какие цветы надеть на голову?

Прекрасные глаза графини засверкали под влагою слез взглядом ненависти и гнева.

– О! – сказала она. – Вы каменный человек! Вы вечно будете неумолимы и безжалостны ко мне!

– Да к чему мне разнеживаться? – отвечал Сафьев. – Я очень рад, что есть модный граф и модная графиня, которые боятся и ненавидят Сафьева. Было время, когда Сафьев был гусарским офицером и влюблялся как ребенок, и любил как ребенок, и верил во все шутовства

жизни. Теперь Сафьев не тот: Сафьев понял, что прежде всего на свете нужны деньги, и не для других, а для себя; и Сафьев нажил теперь себе деньги и живет не для других, а для себя. А главное удовольствие его – ездить в большой свет. Зачем же не ездить ему в большой свет? Теперь, кто захочет, может ездить в большой свет. Только Сафьев не танцует, потому что не умеет, да и неловок, да стар уже немного. Только Сафьев ничего не доискивается: ни чина, ни невесты. Ему ничего не надо: у него одна только цель, одно удовольствие... Зачем не иметь ему своего удовольствия? Он одного только хочет: видеть первую красавицу Петербурга, встречать женщину, которая в старину, во время взаимной простоты, клялась ему прекрасными словами и продала его при первом случае первому попавшемуся человеку. Для этой женщины Сафьев – спутник неотвязчивый: она в Петербурге – он в Петербурге, она за границей – он едет за границу, она говорит – он подслушивает ее слова, она улыбается – он переводит ее улыбку, она плачет – он переводит ее слезы, она под маской – он называет ее под маской; он для нее вечный упрек, вечный судья, вечная, неотвязчивая тень и вечной будет тенью... Что ж делать! Это его удовольствие; у каждого должно быть свое удовольствие – а Сафьев не умеет танцевать!

А графиня боится Сафьева, потому что у ее сиятельства совесть нечиста, и граф боится Сафьева, потому что и у его сиятельства совесть нечиста, а Сафьев ничего не боится, и не стреляется, и не будет стреляться, потому что это глупость.

Пока Сафьев по-своему высказывал неумолимое злопамятство своего уязвленного сердца, графиня принимала более и более ласкательный вид. В глазах ее, еще влажных, выражалась обворожительная нега – и вдруг, почти детским движением, она приподнялась к плечу Сафьева, наклонилась к нему на ухо и шепнула давно не слышанным, но вечно незабвенным голосом:

– Я прошу тебя, если ты меня любил, помири их.

Сафьев дрожал, как будто под влиянием внезапной электрической силы. Твердость его исчезла. Он хотел говорить, хотел отвечать... В эту минуту граф возвратился в комнату. Сафьев улыбнулся.

– Я говорил графине, – сказал он, – что у вас удивительный дом.

– Право? – отвечал граф, обрадованный в своем самолюбии. – Да, недурен. Министр еще наемдню хвалил мою малиновую гостиную. Да вы ее, кажется, не знаете? Хотите взглянуть?

– Благодарю покорно; теперь мне некогда; завтра, – прибавил Сафьев шепотом, – за Волковым кладбищем, в седьмом часу утра... не опоздайте. – Он почтительно поклонился графине и вышел. Граф провожал его с поклонами до передней.

«Нечего делать, – подумала графиня, оставшись одна в комнате, – нечего делать, надо будет обратиться к моему генералу».

IX

Вы, вероятно, строгий мой критик, читая, по обязанности служения вашего, беззащитную мою повесть, не раз упрекали уже ее в том, что она не занимательна, не являет никаких разительных неожиданностей, не изобилует событиями и не трепещет от впечатлений.

Но скажите, критик мой сердитый, много ли в жизни вашей и в глазах ваших разыгралось романтических драм? Не прошла ли жизнь ваша, как и наша проходит, в самых обыкновенных действиях жизни?.. Поутру погулять в бекеше, потом пообедать где-нибудь получше, потом побеседовать с какими-нибудь барынями покрасивее, да от времени до времени пописать что бог даст.

К чему же искать нам явлений из жизни небывалой и карабкаться на ходули?

По-моему, отсутствие всяких событий во внешнем быту не только признак, но даже цель жителей большого света, и мне даже хочется заметить, если вы, мой критик, не слишком за то

рассердитесь, что в петербургских обществах царствует какая-то вялость, которая отдаляет на почтительную дистанцию всякий поэтический вымысел.

Проведите в молодости вашей веселую зиму в Петербурге, храните воспоминания о ней, как о светлой точке вашей жизни; припоминайте с улыбкой все ваши резвые шалости, все сердечные отношения, которые вы подметили между товарищами вашими и робкими красавицами, взволновавшими впервые ваши юношеские сны, – и вот, лет через десять, усталый от жизненных забот, вы вновь возвращаетесь в Петербург. И что же? Вы опять находите вашу прежнюю жизнь, для вас уже отливавшую, но для других неизменяемую, и такую, как вы ее прежде оставили. Вы видите, как ваши прежние товарищи все еще ухаживают по-старому за вашими прежними красавицами, и все на прежнем основании, не подвигаясь ни на шаг ни вперед, ни назад. Вы слышите те же самые шутки, которым вы так весело смеялись; вы слышите те же самые сердечные признания, которым вы верили так неограниченно и о которых вы так искренно, так простосердечно вздыхали.

«Все то же!» – скажете вы. И вам станет досадно, потому что старина ваша вдруг облачится перед вами. Десять лет, пробежавшие над вами с трудом и горем, промчались над Петербургом, как десять бальных ночей, между пустословия и комплиментов, между шарканья и мазурок.

Итак, простите меня великодушно, о критик, грозный мой судья! если в рассказе моем, который уже по заглавию своему не должен быть не что иное, как бедный снимок с бедной картины большого света, вы не найдете ничего, кроме самого обыкновенного и самого вседневного.

Резкие драмы внутренней жизни скрываются в глубине души, в тайне кабинета, подальше от насмешливых взоров, тогда как внешняя жизнь тянется однообразно и прилично, без изменений и страстей.

Не знаю, много ли было различных приключений с Леониным в два года, с тех пор как он вступил на новое поприще; много ли раз он раскланивался с своим генералом на бале и сидел, по приказанию его, под арестом после учения; не знаю, много ли он танцевал мазурок, много ли раз он был в театре, – знаю, что предсказания Сафьева сбылись и что жизнь бедного офицера преисполнилась мелкими, но язвительными огорчениями.

Кто не испытал нужды, кто не постиг вполне нищенской роскоши половины Петербурга, тому страдания Леонина не будут понятны.

Скромный доход, получаемый им от неутомимых трудов бабушки, далеко не доставал на издержки, о которых она и понятия не имела. Бальные мундиры и военное щегольство; концертные билеты, полученные от почтенных дам, любящих награждать артистов чужими деньгами; наемные кареты, пикники, где мужчины платят, а женщины только кокетничают; зимние катания, где должно щегольнуть санями и лошадьми; лотерейные билеты в пользу бедных – одним словом, все, что показалось бы прежде ему неслыханным мотовством, при вступлении его в присяжные поклонники модной красавицы сделалось условием первой необходимости. Бедный Леонин! Тогда познал он нужду, досадливую нужду, которой не знал он до тех пор. В большом свете есть такие вещи, которые нельзя не иметь: скорее сделать дурное дело, скорее украсть, чем остаться без них, скорее умереть со стыда, чем сознаться в своем недостатке! И какими глазами ты будешь смотреть на женщину, которую ты любишь, если она знает, что ты приехал на бал на извозчике за двугривенный, о котором ты торговался; если мундир твой изношен, если перчатки твои нечисты, если где-нибудь в твоей светской жизни промелькивают лохмотья? Какие старания, какие неусыпные труды должно прикладывать, чтоб скрыть от всех горькую истину и выучиться искусству последнюю копейку ставить ребром!

После нужды Леонин познал зависть. И не обидно ли также быть с товарищами одинаких лет, быть с ними в дружбе – и быть гораздо их беднее? Зависть вкралась в его душу.

После зависти он познал унижение. Он не был то, что называется женихом: матушки с дочерьми на него не глядели. Он вальсировал плохо; его не выбирали. Он не умел себе присвоить выгодное местечко; он не умел напугать своим злоречием. Молодые женщины с ним не кокетничали; его иногда забывали в приглашениях; ему не отдавали визитов; его никогда не звали обедать.

Он все это видел, все понимал, но, по врожденному в человеке чувству, упорствовал, потому что ему хотелось упорствовать.

Он видел графиню почти каждый день и каждый день думал быть накануне победы над ее сердцем. Редко находил он ее одну, но когда это случалось, она томно на него взглядывала, говорила о неумолимых законах света и слегка касалась любви прекрасной и высокой. Все этому Леонин начинал верить менее, но все еще верил, бедный, и в сердечных отношениях своих с графиней оставался вечно на рубеже между надеждой и отчаянием, между равнодушием и любовью. Иногда, когда графиня пожимала его руку или бросала ему будто невольно страстный взгляд, Леонин радовался до безумия. В другой раз она на него не глядела, при нем весело кокетничала с другими – и несчастный Леонин изнывал от досады и ревности бессильной.

Не много лет прошло с тех пор, как графиня была замужем, а уже книга большого света была изучена ею до последней буквы. Она узнала, что обширный круг обожателей – первое условие модной женщины, а потом узнала она, как привлекаются обожатели, и самые первые, самые богатые, самые значащие. Все таинства науки очарований были ею изучены и приложены к жизни практической с удивительным успехом: для иного – такое-то платье, для другого – такие-то цветы; иному – улыбка, другому – сердитый вид. Все оттенки разговоров, все постепенности взглядов, все перемены движений были ею изучены до последней мелочи.

С людьми средних лет была она свободно разговорчива; с молодыми людьми, достигшими второй молодости, расточала она все прелести колкого ума, всю обворожительность своих очей и стана; с молодыми людьми, вступающими только в свет, была она величественна и недоступна, как богиня; одним словом, для каждого оттенка человеческого возраста была у нее особенная тактика.

Леонин все это видел.

Друзья мои! женщина-кокетка пагубна для нас не оттого, что не исполняет своих обещаний, а потому, что она лишает нас многого, охлаждает наши самые горячие верования. Видя, как она весело играет сердечными святынями, мы невольно ей подражаем, стыдясь своей пасторальной простоты, и не чувствуем мы, как не приметно при ней лучшие цветы жизни увядают в нашей душе.

Впрочем, и на графиню находили иногда минуты настоящей грусти. Раны сердца ее раскрывались, и она действительно жалела о себе самой, и драпировалась, как мантией, своим непонятным горем. Но и со всем тем, как заметил Сафьев, она ни на что бы, подумавши немного, не променяла блестящей аристократической жизни, к которой она привыкла. Деревня, соседи, заседатель, Либарины, Митровихины, Бобылькины являлись в голове ее настоящими чудовищами. Избалованная роскошью, гордая графским гербом, она создана была для большого света, как большой свет был создан для нее.

Одно было в ней странно и непостижимо: не то, что она кокетничала с князем Чудиным, с князем Красносельским – это было в порядке вещей; всех удивляло то, что она на бале танцевала с маленьким Леониным, что *le petit Leonine* сидел иногда в театре у нее в ложе, что она, казалось, всячески хотела удержать его в своих сетях.

Впрочем, никто не простирали своих заключений слишком далеко; каждый знал, что если графиня и пожелает когда-нибудь любить истинно, то она наверно выберет человека позначительнее Леонина.

Так, как говорил я, прошло два года. Иногда хотел он разом открыть душу свою и уже пламенные слова предвещали бурю сжатых страстей, но графиня ловко от него отшучивалась. Иногда он приходил в отчаяние; графиня ободряла его тогда улыбкой. Граф ему не кланялся и не обращал на него внимания. Время шло...

Однажды утром вдруг вспомнил он об Армидиной.

Графиня накануне целый вечер ходила в маскараде под руку с князем Чудиным. Леонин ее узнал, а она от него отвернулась и не заметила даже, что он сидел, печальный, на тех самых креслах, на которых он слышал ее исповедь.

«Бедная Армидина, – подумал он. – Что за волосы!

У графини нет таких волос, и притом Армидиной восемнадцать лет, а графиня, хотя и хороша, а все-таки уж... начинает... немножко... гм, гм... Армидина меня любила, а графиня, кажется, никого не любила. Я обманул бедную девушку; я обольстил ее воображение; я неблагодарный, я преступник, я изверг!..» Леонин ужаснулся вдруг самого себя и с твердым намерением снова утешить покинутую красавицу решил в первое воскресенье снова отправиться в Коломну и поговорить по-старому о счастье любить на земле и жить на земле вдвоем.

Х

Как человек модный, он приехал поздно. Тускло освещенная передняя была завалена шубами. Полусонный казачок снял с него шинель и повесил на вешалку.

Леонин принял на себя приличный вид и, поправив волосы, вошел в комнату, где танцевали. В комнате было по обыкновению темно. В углу наемщик трудился на фортепьянах. Танцевали мазурку. В первой паре сидела m-lle Armidine с каким-то огромным кирасиром, который поминутно поправлял свои ужасные усы и бакенбарды.

Леонин легко поклонился и мастерски проскользнул в другую комнату, где Нимфодора Терентьевна играла в бостон с тремя старушками. При появлении его старушки подняли чепцы свои вверх, с свойственным подобным старушкам удивлением. Нимфодора Терентьевна прищурилась на молодого человека и поклонилась довольно сухо, примолвив:

– А! здравствуй, батюшка. Каким ветром занесло?

Так изважничался, что и глаз к нам не кажешь! Говорят, сделался шематоном... Шесть в сюртах!.. Как это к нам пожаловал? Мы люди неважные, мы играем без кадилей.

Леонин повернулся на одной ноге и, довольно смущенный, отправился в комнату, где танцевали. Несколько прежних товарищей окружили его и начали душить вопросами:

– Откуда ты? Что это ты пропал?.. Хочешь *visa-vis*?

Всех более надоел ему маленький франтик с мужижкой прической, с цепочкой, с лорнетом, который не давал ему покоя.

– А! *bonjour*. Очень рад вас здесь встретить. Мы в театре очень часто видимся. Кто вам больше нравится:

Allan или Taglioni? Вообразите, я видел пятнадцать раз сряду «Гитану», Я всегда во французском театре. Что делать?.. люблю Allan; нас в театре несколько человек всегда вместе. Петруша, Ваня... Вы знаете Петрушу, графа Петра В.. и Ваню, князя Ивана? – славные ребята!

Я с ними неразлучен; обедаем каждый день почти вместе у Кулона или у Legrand. Как по-вашему, кто лучше, Legrand или Coulon? Хорош Legrand! Дорог, нечего сказать, а мастер своего дела. Вы много ездите в свет, слышал я: скажите, пожалуйста, эт ву коню авек ле Чуфырин э ле Курмицын?¹² – Нет.

– Жалко! Очень у них весело! Уж не такие вечера, – продолжал он, наклонясь на ухо Леонина и улыбаясь лукаво, – уж не такие вечера, как здесь, почище, гораздо почище. В ком-

¹² Знакомы ли вы с Чуфыриным и Курмицыным? (искаж. фр.).

натах освещено прекрасно, а за ужином не подают черт знает что. Курмицыны долго были за границей и живут совершенно на иностранный genre¹³. Славные вечера! Я очень хорош в доме. Хотите, я вас представлю? Я с ними очень дружен...

Леонин повернулся к нему спиной и трепетно приблизился к m-lle Armidine. M-lle Armidine легко кивнула ему головой. В глазах ее не было ни радости, ни досады.

Исполинский кирасир косо взглянул на Леонина и закрутил дремучий лес своих усов.

– Я не нахожу слов для извинения своего, – сказал Леонин.

– Для какого извинения? – спросила m-lle Armidine хладнокровно.

– Я так давно не был у вас.

– А, для этого-то! Правда, вы, кажется, давно у нас не были.

«О! – подумал Леонин, – как ничтожны мужчины в науке притворства!»

Мазурка продолжалась. Леонин стоял незамеченный в уголку; его ни разу не выбрали, а m-lle Armidine была все прекрасна и воздушна по-прежнему. Белокурые кудри, пышнее чем когда-нибудь, вились по ее плечам, и она задумчиво вздыхала и поднимала к небу глаза свои.

Кирасир наклонился к ней на стул и шептал ей на ухо страстные слова... о чем неизвестно, а вероятно, о счастье любить на земле и жить на земле вдвоем.

У дверей стоял толстый чиновник в вицмундире, с огромной сердоликовой печатью на часах.

Франтик опять подошел к Леонину.

– Эт ву коню авек m-г Кривухин¹⁴, вот, что в дверях стоит? Кажется, гаденький такой; думаешь, бедняк, чиновник какой-нибудь; он начальник отделения, и у него, вообразите, в шкапулке тысяч триста чистоганчиком – каково? приятно, не правда ли? не похож на то, совсем не похож. Жаль, что в карты не играет! Вы играете в карты? Я люблю вист по маленькой. Мы иногда с Петрушей, с Ваней режемся часа четыре сряду – славные ребята! хотели было меня потащить с собой в большой свет, к Р.. к Б.. к графине К.. да я не хочу: там этикет и скука. Пойду лучше посмотреть на Тальони или на Allan. Люблю Allan! Что это за удивительная актриса! Впрочем, надо сказать правду, и Асенкова недурна, особенно в гусарском костюме. Мы с Петрушей и Ваней всегда ее вызываем.

Леонин бросился к дверям и, с трудом отыскав свою шинель, уехал домой.

Ему было невероятно грустно.

Опять заблуждение одно от него отлетело; опять заметил он, что по себе был он ничем, а что его ласкали из видов и замыслов и что только он отлучился – о нем никто и не заботился. Он не любил m-lle Armidine и чувствовал, что все ее ужимки менее чем когда-нибудь теперь могли иметь на него действие, и со всем тем, по странному противоречию человеческого сердца, огромная фигура кирасира казалась ему противна и ненавистна.

Спустя неделю узнал он, что m-lle Armidine была помолвлена за начальника отделения.

XI

А пока старушка Савишна была в больших попыхах: Наденьку собирались представить в свет; Наденьке уже было семнадцать лет. Она была не так хороша, как графиня, но она была лучше, она более нравилась. Она вполне обладала тремя главными женскими добродетелями: во-первых, наружностью, все более и более привлекающей, потом нравом скромным и как будто просящим опоры любимой, наконец, тою неопределительной щеголеватостью движений и существа, которая составляет одно из главных очарований женщины.

¹³ Здесь: манер (фр.).

¹⁴ Знакомы ли вы с Кривухиным? (искаж. фр.).

Савишна была в больших хлопотах: то гладила она бальное платье, в котором Наденька в первый раз должна была явиться на суд светских знатоков; то сердилась она, что не принимали ее советов насчет головного убора; то вздыхала и крестилась, вспоминая о доброй своей барыне, которая давно лежала в могиле и не будет, бедная, любоваться своей дочерью в бальном ее наряде.

Следуя аристократическому обычаю петербургской знати, Наденька тщательно скрывалась от всех глаз до роковой минуты вступления в свет. Минута эта наступила, и она ожидала ее без боязни и без восторга.

Быть может, в девственных мечтах ее, меж цветов и бальных звуков, и слышался ей неведомый шепот, и чудились ей предугадываемые чувства... Кто проникнет в сердечные грезы молодой девушки? Кто поймет неиспорченным сердцем первые думы, первую задумчивость и неясные откровения души девственной, души, открытой всему прекрасному?

Дом старой княгини, тетки Щетинина, был назначен для первого выезда Наденьки.

Наступил день бала.

Все по-старому пышно и хорошо. Кареты тянулись длинною нитью у ярко освещенного подъезда. Дверцы поминутно хлопали, и из карет выпархивали разряженные девушки, одюжевшие матушки, вышаркивали камерюнкеры.

И Леонин явился, по привычке, на бал. Поутру заимодавцы не давали ему покоя. Начальник его обещал ему, за нерадение к службе, отсылку в армию. Графиня не приняла его, извиняясь головною болью, хотя трое саней стояло у ее подъезда.

Ему было невероятно душно. Лицо его было бледно, глаза неподвижны. Все на бале его видели, и никто не заметил.

А бал был прекрасный. Бальные речи шумели шумным говором. Женщины, украшенные цветами, сверкавшие очами и брильянтами, наклонялись на кавалеров и кружились с ними в упоительном вальсе.

Леонину все это стало противно. На роскошь праздника он взгляда не бросил, и ко всем окружающим он почувствовал неодолимое отвращение.

В эту минуту в большую залу вошла графиня. Парчовый тюрбан увивался около ее головы; темно-бархатное платье чудно выказывало удивительную белизну ее плеч. В зале сделалось невольное движение.

За графинею шла молоденькая девушка в белом платье с голубыми цветками.

«Сестра графини!» – раздалось шепотом повсюду.

Все кинули на нее испытующий взгляд; даже старые сановники, занятые в штофной гостиной вистом, невольно удостоили ее мгновенным и одобрительным осмотром; даже женщины взглянули на нее благосклонно.

Леонин видел ее несколько раз мельком у графини, но едва лишь заметил. И точно, что значит девочка в простом платье, с потупленным взором в сравнении с графинею, расточающей все прелести своего кокетства, все роскошные изобретения парижских мод! Теперь Леонину показалось, что он видит Наденьку в первый раз. Глядя на нее, ему как-то отраднее стало, и он невольно к ней приблизился и очутился с ней во французской кадрили.

– Ну, что, – спросил он, – какое впечатление делает на вас ваш первый бал?

– Хорошо, – отвечала Наденька, – хорошо; только я думала, что будет лучше. Я думала, что мне будет очень весело.

– Что же, вам не весело?

– Нет, не то, чтоб и скучно, а как-то странно... Все осматривают меня с ног до головы. Боюсь, чтоб платье мое кто-нибудь из кавалеров не изорвал... Да жарко здесь очень!

– Да, – сказал Леонин, – здесь жарко, здесь душно. В свете всегда душно!.. Все те же мужчины, все те же женщины. Мужчины такие низкие, женщины такие нарумяненные.

Он невольно повторил слова, слышанные им некогда в маскараде.

Наденька взглянула на него с удивлением.

– Да нам какое до того дело? Если женщины румянятся, тем хуже для них; если мужчины низки, тем для них стыднее.

«Правда», – подумал Леонин.

– И почему, – продолжала Наденька, – искать в людях одно дурное? В обществе, я уверена, пороки общие, но зато достоинства у каждого человека отдельны и принадлежат ему собственнно. Их-то, кажется, должно отыскивать, а не упрекать людей в том, что они живут вместе.

Неопытная девушка объяснила в нескольких словах молодому франту всю тайну большого света.

Следующую кадрили Леонин танцевал с графиней.

– Графиня, – сказал он, – два года назад, во время маскарада, одна маска показалась мне чрезвычайно жалкою. Она не знала меня и обратилась ко мне как к другу, и раскрыла мне все раны своего сердца.

– Право? – рассеянно сказала графиня, приложив веер к губам.

– Она была точно жалка, – сказал Леонин. – Никто ее не любил, а она жаждала счастья найти душу, которая могла бы ее любить. Под маской были вы, графиня, – Вы думаете?..

– Я в том уверен. И с тех пор я бросил всю прежнюю жизнь свою; я оставил всех своих знакомых; я отказался от девушки, которая меня любила; я втерся в новый круг, где я терпел все унижения и все досады, я вышел из пределов моего состояния, я прилепился к следам вашим, для вас одной, и я не просил ничего, и когда я был вам нужен, я был всегда под рукой, и когда вы кокетничали с людьми, мне ненавистными, я молчал...

И я думал тронуть вас своим постоянством и своей любовью, я думал, что в награду всех мучений, которые я претерпел для вас, вы бросите мне взгляд сожаления и будете ко мне неравнодушны.

– Чего же вы хотите? – спросила графиня. – Я хочу знать, любите ли вы меня?..

Графиня горделиво подняла голову.

– Вы, кажется, с ума сошли? – сказала она.

В ее голосе было столько презрения, что бедный Леонин, как опьянелый, вышел в другую комнату.

В то же время князь Чудин подошел с другой стороны к графине, перекачиваясь с ноги на ногу.

– Прелестная графиня, – сказал он, – два слова.

Вот два года, как в свете говорят, что я в вас влюблен.

Что вы думаете: правда ли это?

– Не знаю, – сказала графиня смеясь.

– Оно бы, может, и было правда, – сказал fashionable, – да дело в том, что я никак не умею вздыхать, плакать и падать в обморок. Для меня ремесло собачки, которая должна служить и прыгать для своей хозяйки, – нестерпимо. Я люблю действовать решительно и требую решительных ответов: да или нет. Я никому не дам удовольствия видеть, как я буду сентиментальничать. Это не моя привычка. Угодно вам будет мне отвечать?

– Вы, кажется, с ума сошли! – сказала, рассмеявшись, графиня и протянула ручку свою известному нам генералу, который пожал ее с чувством рыцарской благодарности, а потом уселись они вдвоем на кушетке, в уголку соседней гостиной, и начали разговаривать, не обращая ни на кого внимания. Генерал был очень счастлив. Он вежливо протянул руку проходящему мимо мужу графини, который почтительно мимо него прошаркнул и уселся с некоторыми лицами за карточный стол.

Заиграли мазурку. Пары уселись вдоль стены. Щетинин танцевал с графиней. Он был в самом светском расположении духа, злословил и смеялся. Вообще нет ничего пошлее мазурочных разговоров, даже если и вмешается в них какое-нибудь сердечное отношение. Во-пер-

вых, жара, теснота, необходимость встать поминутно для фигур, усталость и поздняя ночь в состоянии отнять у самого пламенного любовника все его красноречие. Тогда невольно ищешь самых простых слов и самых простых мыслей; тогда женские уста, отверстые невольно для зевоты, смыкаются лишь из приличия улыбкой.

– Графиня, – говорил Щетинин, – замечаете вы в Петербурге новую странность: молодые девушки совершенно забыты? Видите, сколько сидит их по разным углам с недовольными лицами и без надежды на кавалеров? Барышня уничтожается в нашем образованном обществе и остается единственно на попечении своих двоюродных братьев или друзей дома, то есть несноснейших людей в мире. Вы будете в кипсеке?

– Нет. Да этого кипсека никогда не будет.

– Напротив, он скоро должен выйти в свет с изображениями наших красавиц. Вам первое место следует по праву.

– Благодарю покорно. Моего портрета, однако, не будет. Может быть, я недовольно хороша, я недовольно *bon genre*¹⁵ для подобной чести.

– Графиня, *bon genre* теперь не говорится более, а говорится *genre fracas*¹⁶: оно новее и выразительнее, не правда ли? Вы были вчера на бале – *fracas*. Вы танцевали мазурку с вашим обожателем – *fracas*! А если вы задумались, если вы вздохнули, если вы хоть слово сказали, – это могло дать подумать, что сердце ваше тронуту, – *fracas*! *fracas*! Все, что от нас идет и к нам обращается, – все *fracas*! А где друг мой и приятель *m-r Leonine*, ваш постоянный обожатель, ваш безнадежный вздыхатель, господин де Грандисон? Вот уж вовсе не *fracas*.

– Вообразите, – отвечала, смеясь, графиня, – что он не на шутку требовал от меня нынче объяснения; он хотел, чтоб я призналась в любви к нему!.. И теперь он сердится и ходит бледный и сердитый, как тень Гамлета.

– Я очень рад, – продолжал, также смеясь, Щетинин, – я очень рад: авось это отучит вас от страсти собирать около себя целое стадо обожателей – к чему они все вам?

– О! этого я должна была отличать между прочими по обстоятельствам, мне известным. Виновата ли я, что он принял за любовь все, что было лишь приличие? Может быть, я и виновата немного. Да какой женщине, скажите, не хочется нравиться?

– И вы, наверное, знаете, что вы не любите моего рыцаря печального образа?

– О! что до этого, вы можете быть совершенно спокойны. Он не глуп, а все-таки не только не *fracas*, а просто – *mauvais genre*¹⁷, и тон его, сказать вправду, иногда бывает очень дурен. Если б у меня была склонность, я бы умела ее лучше выбирать.

– О, бедный господин де Грандисон! – смеясь, продолжал Щетинин. – О, сентиментальный юноша!

– Я вам должна признаться, – прибавила графиня, – что ваш приятель бывает иногда чрезмерно скучен: молчит и вздыхает, вздыхает и молчит. И потом, два года назад, он был мне нужен, а теперь бог с ним!

Князь Чудин протянул небрежно руку к графине; она улыбнулась и, встав с своего места, порхнула с князем в пирамидную фигуру.

– Князь! – сказал на ухо Щетинину дрожащий голос. Щетинин обернулся. За стулом стоял Леонин с посиневшими губами, и за Леониным стоял Сафьев, с пальцем, задетым за жилет и с вечной улыбкой.

– Князь, – продолжал Леонин, – в романе господина де Грандисона недостает одной главы – поединка. Вы знаете, что романы без поединка теперь не обходятся. Не угодно ли вам будет дополнить этот недостаток?

¹⁵ Хорошего тона.

¹⁶ Здесь: потрясающе (фр.).

¹⁷ Дурной тон (фр.).

– Извольте, – отвечал Щетинин, – желаю, чтоб эта глава была из лучших в вашем романе. Кто секундант ваш?

– Г. Сафьев, – продолжал Леонин, – не правда ли? – По-моему, – сказал Сафьев, – всякая дуэль – большая глупость. Однако, душа моя, как здесь ты немного найдешь охотников, так я, пожалуй, рад быть твоим секундантом. Только вот что: прошу не мешаться ни во что, а все предоставить мне. К кому прикажете, – прибавил он, наклонившись к Щетинину, – явиться мне для нужных переговоров?

– Я буду просить графа Воротынского быть моим секундантом, – отвечал Щетинин.

– Графа, графа! – с удивлением заметил Сафьев. – Ну, да быть таки я поеду к графу.

Князь Чудин возвратился к месту графини и, оставив ее у стула, поднял с пола свою шляпу и стал, с лорнетом в глазе, в числе не танцующих.

Князь Щетинин продолжал разговор как бы ни в чем не бывало, но злословил и смеялся больше обыкновенного. Мазурка весело переходила от фигуры пирамид к фигуре замысловатых выборов.

Графиня мигом разгадала все, что было в ее отсутствие, но, как женщина опытная, она не обнаружила своего смущения, напротив, веселость ее сделалась живее, глаза заискрились, румянец заиграл на щеках ее. Она отвечала шутками на шутки, улыбками на улыбки и порхала между танцующими с такой откровенной веселостью, что собой оживила целый бал. Никогда еще, может быть, она не была так привлекательна и прелестна.

Шепот восхищения зажужжал вокруг нее, провозглашая ее единогласно царицею вечера; и точно, нельзя было довольно ею налюбоваться. Стройная, живая, с лихорадочным огнем в глазах и с улыбкой сладострастной на устах, с длинными волосами, распущенными по плечам, она носилась, не касаясь пола своими ножками, осуществляя собой все страстные мечты, все страстные желания юноши. Кругом ее все смешалось и закипело. Молодые люди, молодые женщины начали кружиться и чаще, и быстрее; музыка заиграла громче, свечи засверкали яснее, цветущие кусты распустились ароматнее.

– Славный бал! – говорили старики, оживляясь воспоминанием при веселии молодежи.

– Чудный бал! – говорили молодые дамы, махая веерами.

– Прелестный бал! – говорили юноши, улыбаясь своим успехам.

И среди этого шума, этого хаоса торжествующих лиц одна молодая девушка стояла задумчиво и не радуясь радости, которой она не понимала. Ее большие голубые глаза устремились с скромным удивлением на ликующую толпу. Она чувствовала себя неуместною среди редких порывов светского восторга, и то, что всех восхищало, приводило ее в неодолимое смущение. На всех лицах резко выражалось какое-то торжественное волнение, а на чертах ее изображалось какое-то душевное спокойствие, отблеск небесной непорочности и отсутствия возмутительных мыслей.

Леонин прислонился к двери с горькой думой и окинул взором все собрание, которое прежде так увлекало и ослепляло его. Вдруг взор его остановился на прекрасном и спокойном лице Наденьки – и мысль его приняла другое направление.

Загадка большого света начала перед ним разгадываться. Он понял всю ничтожность светской цели, всю неизмеримую красоту чувства высокого и спокойного.

Он все более и более приковывался взором и сердцем к Наденьке, к ее безмятежному лику, к ее необдуманному движению. Он долго глядел на нее, он долго любовался ею с какой-то восторженной грустью...

И вдруг, по какому-то магнетическому сочувствию, взоры его встретились с взорами Щетинина, устремились вместе на Наденьку и обменялись взаимно кровавым вызовом, ярким пламенем соперничества и вражды.

XII

Кто бы взглянул при свете каретного фонаря на графиню, когда она ехала с бала с сестрой и мужем, тот, наверно, не узнал бы беззаботной, веселой красавицы, которая одна оживила собой целую чопорную великосветскую толпу. Волосы ее развились и падали в беспорядке около лица, губы побелели, около глаз врезались едва заметные черты, а в глазах отражалось безотчетное утомление. На графиню находила одна из тех минут, которые, как говорил уже я, так часто отягощают светских людей: жизнь казалась ей противною, люди – гадкими, вся сфера, в которой она жила, – унижительною. Так же, как в тот вечер, когда она познакомилась с Леониным, ею овладела грусть неодолимая. Подле нее сидела Наденька, утомленная шумом, ей непривычным, и тихо склоняла головку свою на атласные подушки кареты. Граф казался очень сердитым, молчал и от времени до времени звучно отдувался; наконец, заметив, что Наденька засыпает безмятежно, он обратился к жене своей с вопросом:

– Объясните мне эту глупую историю. Стою с шведским посланником, с сенатором Петром Александровичем да еще с князем Петром Даниловичем, разговариваем мы о том, как бы в четверг составить нам партию, вдруг выбегает из другой комнаты, как сумасшедший, Щетинин, и прямо ко мне, и таки и не смотрит, с кем я стою, – ничуть не бывало! прямо ко мне и, не извинившись, говорит, что он имеет сказать мне что-то весьма важное. Я поглядел на него. Щетинин человек порядочный, однако ж все-таки еще молодой человек, и мне показалось это немножко некстати против человека, как я; однако делать нечего, я отошел с ним к стороне.

– Он просил вас быть своим секундантом? – поспешно спросила графиня.

– Так точно-с. Возьмите же, какая глупость для человека с моим званием, с моим именем идти вмешиваться в дела молодых людей, которых я почти не знаю, да и знать вовсе не хочу, черт бы их побрал!

– Вы отказали? – сказала графиня.

– То-то я в большом затруднении. Отказать нельзя Щетинину: он говорит, что он за вас поссорился с Леониным, и ради бога просил не говорить вам о том.

Надобно, чтоб эта история оставалась как можно секретнее; не то он, Леонин, и я, и вы сделаемся предметом всех разговоров и городских сплетней.

– Сохрани бог! – невольно воскликнула графиня.

– Что вы прикажете делать? Идти – глупо, не идти – страшно; а все, сударыня, вы виноваты, – Я? – сказала графиня.

– Да... все вы. Когда я взял вас, в вашей деревушке, что были вы тогда? – ничего; просто деревенская девочка, а теперь что вы? – графиня, жена моя, которой все завидуют.

– О! что до этого, – с досадой отвечала графиня, – мы с вами расплатились. Что были вы прежде? – ничего; человек, который даже танцевать не умел, а теперь вы в связи со всею знатью, потому что я ваша жена.

– Ну, – сказал граф, – зачем же вы не оставались в этом кругу? Что было вам в этом маленьком Леонине, который черт знает что и черт знает откуда и который повсюду вас преследует, как тень ваша? Не ожидал я от вас, что именно через этакое ничтожное существо я должен лишиться всего, что мне и вам обещано. Вот, если б князь Чудин, например, так все-таки было бы простительнее...

– А что б вы сказали, – отвечала графиня, – если б, по завещанию матушки, Леонин, вместо того чтоб быть моим поклонником, сделался мужем моей сестры и гостиная ваша наполнилась бы всеми Леонинами, Свербинами и Либаринами Орловской губернии?

– Как? что это? – с удивлением воскликнул граф.

В эту минуту карета подъехала к графскому дому, и рослый лакей, бросившись поспешно к дверцам, остановил начатое объяснение.

Наденька все слышала, и сама испугалась собственных впечатлений. Всю ночь не смогла она сомкнуть глаз.

То становилось ей страшно за Щетинина, который будет драться на пистолетах; то становилось ей досадно на Щетинина, что он с ней не танцевал; то думала она с почтением и горем о матери своей и о Леонине с ней вместе. Прошел день. Савишна с беспокойством взглядывала на свою барышню, и крестила ее издали, и дивилась ее задумчивости... В этот день все было мрачно в доме графини, и Сафьев был у графа. В понедельник утром Наденька задумчиво сидела в больших креслах.

Вошла к ней Савишна.

– Что, няня?

– Да странное, матушка, дело: письмо к вам какое-то принесли.

– Ко мне? быть не может.

Наденька с живостью распечатала поданный ей конверт.

Вот что она прочла: «Завтра в шесть часов я должен стреляться. Если вы получите это письмо, меня на свете не будет.

Не знаю, право, жалеть ли мне о жизни или радоваться смерти. Только одного мне бы не хотелось, Надина: умереть, не открыв вам души моей, не простившись с вами, не попросив молитвы вашей над моею могилой.

Вы меня мало знаете. Вы слышали обо мне как о человеке модном, и, может быть, в душе своей вы пренебрегаете моим ничтожеством, вы презираете меня.

Мысль эта для меня нестерпима. Выслушайте меня, прочитайте эти строки. Смерть будет служить мне извинением и убедит вас в истине слов моих.

Я вырос в одиночестве, без родных ласок, которые так сильно привязывают нас мыслью к первым годам нашей жизни. Наемщики наперерыв старались отвращать меня от настоящего и путать в будущем. В целом детстве моем нет ни одной светлой минуты, о которой сладко было бы мне вспомнить, на которую душа моя улыбнулась бы. Я говорю это с истинным, глубоким огорчением. Все детство мне было заточением, где из решетки окна блистали передо мной экипажи, ливреи, балы, театры, брильянты и удовольствия. К ним только устремлялись все мои помышления. Но чистые наслаждения моего возраста оставались мне вечно неизвестными, и только теперь, когда уж седые волосы промелькивают у меня на голове, я понял, как много свежести душевной, не коснувшись до меня, провеяло мимо и утратилось навеки.

Когда я надел эполеты, все было уже мне известно наперед и свет был для меня разгадан. Жизнь рассеянная увлекла меня в вихрь своих удовольствий. Я старался дружить с людьми, которых не любил; я старался влюбляться в женщин, которых не любил, – и в душе моей было пусто и мертво; мной овладело какое-то леденящее равнодушие ко всему. Так долго жил я в чаду бессмысленных наслаждений, изнывая под бременем душевной лени и скуки убийственной.

Однажды на даче я увидел вас. Вы были еще ребенок, но, не знаю по какому сверхъестественному закону, все силы души моей устремились к вам. Я полюбил вас чувством кротким и святым, в котором было что-то отцовское и неземное. Непостижимое противоречие сердца человеческого! Вы – невинная, как мысль небожителей, я – осушивший до дна сосуд страстей человеческих, и со всем тем я чувствовал, что вы проникли светлым лучом в мрак моей жизни и осмыслили мое существование.

И я ношу вас с тех пор в душе моей, и с тех пор я презираю сомнение, и с тех пор много утешительных чувств, которым я не хотел верить, осенили меня свыше.

В вас сосредоточилось мое возрождение, и вам обязан я тем, что гляжу на жизнь без презрения и на смерть без страха.

Но я любил вас безнадежно. Я знал от сестры вашей, что вы помолвлены с детства за другого. Я глубоко скрывал свое горе под личиною равнодушия, и теперь, когда все для меня кончается, мысль эта меня терзает.

Будьте счастливы, но не отдавайте свету святости вашей душевной чистоты! Поверьте замогильному голосу и, когда вам будет грустно, Надина, вспомните о человеке, который вас так долго, так искренно, так неограниченно любил».

– Няня, – закричала Наденька, кидаясь на шею испуганной Савишне, – няня, поедем назад в деревню!

И слезы брызнули ручьем из глаз бедной девушки.

– Няня, увези меня отсюда, я не хочу здесь оставаться. Здесь страшно; здесь все друг против друга.

Его убили нынче... Зачем убили?.. Поедем в деревню.

– Успокойся, матушка. Господь подкрепит тебя!

– Я сама не знаю, что со мною, – продолжала Наденька, – только мне хотелось бы умереть.

В эту минуту графиня отворила дверь и остановилась у порога.

В руках ее была записка.

– Не беспокойся, Наденька, – сказала она, – они драться не будут.

ХІІІ

Еще не рассветало, а щегольская коляска уже промелькнула мимо Волкова кладбища и остановилась у запустелого места, назначенного для поединка. Из коляски вышли Щетинин в шинели с бобровым воротником и граф в бекеше с воротником, поднятым выше ушей, по случаю мороза. Они шли молча, волнуемые каждый различными чувствами. Щетинин думал о Наденьке, о письме, которое она, может быть, получит в девять часов, если он к тому времени не возвратится домой. Впрочем, он хладнокровно готовился к кровавой встрече. Граф казался очень недовольным и что-то про себя ворчал.

«Мальчики, – говорил он про себя, – мальчики! вздумали тревожить такого человека, как я. Что скажет министр, когда узнает, что я попал в такое сумасбродство?»

А что делать? Щетинину отказать нельзя. Посмотрел бы я, чтоб кто другой пришел звать меня в секунданты, а к Щетинину не пойти, так он так осмеет, что после и глаз показать нигде нельзя будет. Черт бы его побрал!..

К тому же и жена моя тут замешана; я должен поддержать мою репутацию... И что было ей в этом Леонине?

Сколько раз спорил я с ней; был бы он порядочный человек, или француз, а то корнет армейский. Бррр...»

Щетинин остановился.

– Здесь, кажется, – сказал он.

Граф робко огляделся, а потом надменно сказал:

– Какова неучтивость... наших противников до сих пор здесь нет! Могли бы они, однако ж, знать, что люди, как мы, не созданы для того, чтоб дожидаться.

– Не успели, может быть, – сказал Щетинин.

– Не успели? когда они знают, что они имеют честь иметь дело с нами; когда мы им делаем честь с ними стреляться, то они могли бы явиться в настоящее время...

Щетинин сел на случившееся тут бревно и погрузился в размышления. Граф всунул обе руки в карманы своей бекешки и начал прохаживаться взад и вперед, грозно нахмурив брови. Прошло полчаса.

– Бррр... – сказал граф, – холодно! Я думаю, у меня нос побелел. Посмотрите, пожалуйста. Знаете что? поедemте домой. Человек, как я, не ездит для того, чтоб быть на таком холоде.

– Помилуйте, – отвечал Щетинин, – как можно! они сейчас будут.

– Как хотите, я один уеду.

Он опять нахмурился и опять скорее начал ходить взад и вперед. Снова прошло полчаса.

– Ну, ей-богу, уеду! – закричал он. – Просто-таки уеду, сейчас уеду... Что они вправду дурачить нас хотят?

– Ради бога, – сказал Щетинин, – подождите еще немножко!

Между тем уж совершенно рассвело; кругом был снег и белая равнина. Вдали пестрые могилы Волкова кладбища, а за ним уж гудел первый говор пробуждавшегося города.

– Нет! – закричал граф. – Это уж слишком! Прощайте... Я покажу этим молокососам, что значит манкировать такому человеку, как я. Давайте мне их только, уж я их отделаю! уж я их!

Тут граф остановился.

Вдали скакала во всю прыть коляска и быстро к ним устремлялась.

– Наконец! – сказал Щетинин.

– Я думаю, – заметил граф, – что после неучтивости, которую они нам сделали, нам бы следовало уехать и заставить их оставаться на морозе.

Щетинин улыбнулся.

Коляска быстро к ним катилась, и, наконец, покрытые пеною лошади примчали ее к месту поединка. Из нее выскочил Сафьев.

– Один! – закричал граф.

– Один! – сказал с удивлением Щетинин.

Сафьев подошел к Щетинину.

– Князь, – сказал он, – два слова наедине.

Они отошли.

– Вот что, – продолжал он, – Леонин уезжает. Не знаю, каким образом узнали о вашем поединке, только голубчика моего спровадили.

– Я за ним скачу вслед! – закричал Щетинин.

– Не нужно; Леонин драться не будет и не хочет.

Вы не знаете, что он был женихом Надины?

– Как, это он?

– То-то, что он. Он уступает ее вам, он знает, что вы ее любите.

– А кто сказал ему, что я люблю ее?

– Я...

Щетинин стоял неподвижный, устремив удивленный взор свой на Сафьева, который с своей бездушной наружностью отгадал глубокую тайну его души.

– Леонин просил у вас извинения, – продолжал Сафьев. – Жаль мне его: добрый малый, да глуп был сердцем.

– Поедемте к нему! – закричал Щетинин. – Я обниму его перед отъездом и поклянусь ему в вечной дружбе.

– Что до этого, – сказал хладнокровно Сафьев, – это опять пустяки.

Граф, заметив, что никакие смертоносные приготовления не угрожали его спокойствию, почел тут нужным вмешаться в разговор с тоном оскорбленного достоинства.

– Я очень удивляюсь... – сказал он.

Сафьев грозно на него взглянул.

– Мне странно кажется, – продолжал он, – что вы так долго заставляли ждать таких людей, как князь, например, или я, например. Разумеется, тут не было дурного намерения, однако ж все-таки, как бы то ни было, очень бы можно было, даже следовало бы...

– А! – сказал Сафьев. – Ваше сиятельство гневается, что вас понапрасну дожидаться заставили. Так зачем же дело стало? По-моему, всякая дуэль ужасная глупость, однако ж, чтоб сделать вам удовольствие, я готов.

Вы знаете, что, по старинному закону, когда два избранные по какому-либо помешательству не могут стреляться, то их заменяют секунданты их. Не угодно ли будет вам отойти на пятнадцать шагов? Человек, как я, может стреляться с человеком, как вы.

– Нет уж, спасибо, – отвечал граф, рассмеявшись принужденно. – Я так замерз, что теперь только думаю, как бы мне домой. Министр ожидает меня в десять часов. Не правда ли, холод ужасный? Бррр... бррр... бррр...

Тут он повернулся и бросился изо всей силы бежать к своей коляске.

– Поедем к Леонину! – закричал Щетинин. – Дорогой вы мне все объясните.

– Поедем.

И в радости своей Щетинин забыл, что уже девять часов и что верный его камердинер уже отнес к швейцару графини Воротынской письмо, писанное для Наденьки.

XIV

Вот что было два часа пред тем.

На дворе еще темнело, но бледный луч, дрожавший на небосклоне, уже предвещал зимнюю утреннюю зарю.

На улицах царствовало глубокое молчание. В комнате Леонина догоравшая свеча бросала длинные тени на окружавшие предметы. Он сидел мрачный и задумчивый перед столом, покрытым бумагами, и от времени до времени пробуждался от грустных размышлений и принимался разбирать письма и вещи свои для последних распоряжений.

«Вот письма бабушки!» – грустно подумал он и, собрав в кучу большие листы, исписанные крупным старинным почерком, обвязал их шнурком и поцеловал с почтением. Бедная бабушка! в два года я едва вспомнил о вас.

Вы посвятили нам всю жизнь свою, а я, неблагодарный, писал только вам о деньгах и не читал ваших советов, и не обращал внимания на ваши слова! Неблагодарность – вот чем я отплатил за ваши ласки, за ваши попечения, за любовь вашу! Добрая бабушка! Здесь отомстили за вас...

Вот, – продолжал Леонин, – записки графини, раздушенные и обманчивые, как ее жизнь. Вот букет, который она будто забыла в руках моих; вот книга, которую она читала; вот ленты, которые она носила...

Прочь! – закричал он. – Прочь! Все это обман, обман, обман!»

И раздраженный корнет начал рвать в куски записки, терзать букет и книгу, и все прежние талисманы любви его с силою полетели на пол.

В дверях раздался голос:

– Душа моя! к чему эта горячность?

– А, Сафьев, пора! Пистолеты с тобой?

– Со мной; только торопись, душа моя. Дело наше плохо. Графиня написала о нашей истории к твоему начальнику. Я тебе опять предскажу судьбу твою { не прогневайся, душа, тебя пошлют в прежний полк или еще далее; ты во всяком случае можешь готовиться на большое путешествие. Одевайся скорее, чтоб нас не застали.

Слушайся только на месте моих советов. Я тебя так поставлю, что тебя пуля не тронет. По-моему, дуэль ужасная глупость. Только если уж драться, так все-таки лучше убить своего противника, чем быть убитым. Кстати, зачем ты стреляешься?

– За кровную обиду, – сказал Леонин. – Щетинин смеялся надо мной с графиней.

– Только-то, душа моя? Я думал, что это у вас был предлог. Ну, да пора! Готов ты?

– Готов.

В эту минуту что-то скрипнуло у подъезда, и Тимофей, задыхавшись, вбежал в комнату с радостным криком:

– Барыня приехала! барыня приехала!

В передней послышался шум; два человека, в дорожных тулупах, вели под руки маленькую согнутую старушку, которая крестилась и охала от усталости и приговаривала дряхлым голосом:

– Миша, Миша! где мой Миша?..

– Бабушка!.. – закричал Леонин. – Бабушка!.. – и взволнованный юноша упал к ногам старухи.

– Миша, Миша, Миша! Господи помилуй, господи помилуй! Слава тебе, господи! Благодарю тебя, небесный владыко! Встань, Миша. Что это с тобой?.. Насилу доехала, ужасно устала. Ну, привелось мне тебя опять увидеть!

Странная была картина. При слабом мерцанье свечки и начинающейся зари молодой человек у ног согнутой старушки, которая его благословляла; подле них высокая фигура Сафьева, с пистолетами в руках; к стене несколько слуг; в это время принесли запечатанный пакет.

– А! – сказал Сафьев. – Я это предвидел. Ну, теперь делать нечего. А дело твое я как-нибудь улажу с Щетининым.

Старушка с удивлением осмотрелась кругом и поклонилась Сафьеву.

– Здравствуйте, Сергей Александрович! Сколько лет, сколько зим не видались мы с вами! Попеременились, батюшка, оба... Года идут...

– Идут, Настасья Александровна.

– Ты знаешь бабушку? – спросил Леонин с удивлением.

– Да, когда я служил в гусарах, я стоял у бабушки твоей в деревне.

– Миша! – сказала старушка. – Знаешь ли, зачем я приехала? Завтра моей Наденьке семнадцать лет, и в семнадцать лет она должна, по воле покойной матери, объявить: хочет ли она быть твоей женой.

– О! – воскликнул Сафьев. – Теперь я все понял!

Леонин распечатал пакет.

– Так точно, – сказал он, – вот приказание немедленно отправиться. Бабушка, опять вам от меня горе! я должен сейчас ехать...

– Да что это такое? – спросила старушка. – Объясните мне; ума не приложу. Миша, скажи мне всю правду... Судьбы господни неисповедимы!

– Я все вам объясню, – сказал Сафьев, – пойдемте только в другую комнату. Вы говорите, – продолжал Сафьев, когда они вышли в другую комнату, – вы говорите, что сестра графини – невеста Леонина!

– Да, батюшка Сергей Александрович, это была воля покойной матушки моей Наденьки; когда минет семнадцать лет, наша Наденька должна выйти замуж за моего Мишу, если у него другой наклонности не будет.

В выборе графиня не должна иметь права вмешиваться, потому что мать ее всегда говаривала, что она продаст сестру, как сама себя продала. Да что вам говорить, вы сами лучше моего, Сергей Александрович, это знаете. Добрая моя приятельница – дай бог ей царствие небесное! – все имение свое отдала своей Наденьке и моему Мише, которого она с детства любила, как своего сына. «Дочь моя, графиня (говаривала она), богата: все, что я имею, – нашим детям». Все это, батюшка, должно быть тайною между нами до совершеннолетия Наденьки, да я как-то раз проговорила в письме к Мише, года два назад.

Леонин закрыл лицо руками. Письма его бабушки лежали у него до того времени без внимания и едва прочитанные...

– Теперь, – продолжал Сафьев, – я все понял: у графини были письма покойной матери и приказание не вмешиваться в замужество сестры своей, а только объявить ей, когда ей минет

семнадцать лет, что покойная мать выбрала ей в женихи Леонина, и желала, умирая, чтоб он ей понравился, – не так ли?

– Так, батюшка.

– Извините меня, Настасья Александровна, я буду говорить языком вам понятным. Леонин, внук ваш, хороший и добрый малый, но в свете, Настасья Александровна, он ничего не значит; он не что иное, как маленький Леонин, офицерчик из армии, довольно бедный, никому не родня; имя его – Леонин, похоже на водевильное и вовсе ничего не имеет аристократического, то есть знатного, одним словом, Миша ваш в свете менее нуля.

Я говорил ему все это прежде, да он не хотел мне верить. Графиня же, Настасья Александровна, которую мы с вами знали милой, бедной девушкой, сделалась такою знатною, такой разборчивой, такой светской дамой, что мысль быть сестрой г-жи Леониной, супруги маленького Леонина, ее может убить. Вообще все женщины, попавшие из скромной семьи в нашу золотую знать, более самых коренных придерживаются всем мелочам гербовой спеси. Я уверен, что графиня, сохраняя в душе своей, еще не совсем испорченной, тайное почтение к приказаниям матери, многое бы отдала, чтобы их изменить, и с истинным сокрушением глядела на свою сестру. Вот что она придумала: так как ей приказано матерью принимать и видеть Леонина, она употребила все женские хитрости свои, чтобы влюбить его в себя и тем отвлечь от сестры.

– Помилуйте! – воскликнула старушка с истинной деревенской простотой. – Да она замужем.

Сафьев улыбнулся.

– Это уж так водится: чем больше у женщины влюбленных вздыхателей, тем более ей завидуют, и потому тем более она в моде. К тому же человек, как Леонин, для женщины, как графиня, – клад: через него она содержит равновесие между своими обожателями. Он – ширмы для ее кокетства... Вы этого не поймете, Настасья Александровна, да зачем вам это понимать?.. Словом, в маскараде начались нападения графини на вашего внука, и он, несмотря на мои советы, поверил всем ее заманкам, влюбился страстно и начал всюду преследовать, тогда как она любила – если она может любить кого-нибудь – известного франта князя Чудина, что было всем известно. Не имея состояния, ни родства, ни связей, ваш внук бросился в большой свет, втерся во все передние, клялся всем толстым барыням, начал пренебрегать службой, наделал целую пропасть долгов, жил в вечной лихорадке и, наконец, после двух лет мучительной жизни, нынче должен стреляться с своим лучшим приятелем, потому что тот хохотал вместе с графиней над его простотою.

– Миша... – закричала старуха.

– Не бойтесь, он стреляться не будет. Графиня испугалась сама своего проступка, а так как у нее есть обожатели всех званий и возрастов, она написала к своему генералу письмо. Поединок – дело, запрещенное законом: следовательно, говорить нечего. Внук ваш выпроваживается поделом. – Душа моя! – продолжал Сафьев, обращаясь к Леонину. – Говорил я вам, что плохо вам будет. Теперь делать нечего: поезжайте, а дела ваши предоставьте мне. Уладим как-нибудь. У вас много долгов, я могу вам дать денег взаймы, разумеется, с поручительством бабушки.

Леонин бросился к Сафьеву и хотел прижать его к своему сердцу. Сафьев его хладнокровно остановил.

– По восьми процентов, душа моя. Что касается до свадьбы твоей, жаль, что она не состоится. Твоя Надина, право, кажется, препорядочная. После и она будет как все... а теперь еще нет.

– Я люблю ее! – воскликнул с отчаянием Леонин. – Я чувствую, что я всегда ее буду любить.

– Ну, душа моя, жаль мне тебя, а дело это конченное! Она будет любить не тебя, которого она не знает, а Щетинина, за которого она боится, и потом, душа моя, Щетинин князь, богат, хорош, человек светский и влюбленный, а ты что?.. Поезжай себе: ты ни для графини, ни для Щетинина, ни для повестей светских, ни для чего более не нужен... Поезжай на Кавказ, а я куда отправлюсь на Волкове поле, где противники наши, чай, бесятся на морозе.

– Послушай, – сказал Леонин, – скажи Щетинину, что я беру свой вызов назад, что я прошу извинения, что я не хочу стреляться... Скажи ему что хочешь. Да пожелай ему счастья с той, которую я вечно буду любить.

Прощай же, Сафьев! Спасибо за твою язвительную дружбу; она лучше светской ласковой ненависти. Я не ворочусь более никогда в Петербург! что мне делать в Петербурге? Если увидишь Надину, скажи ей, что там, далеко, есть человек, который готов за нее умереть... Да нет, не говори ничего... ничего не говори... решительно ничего. Прощай... Тебя ждут. Прощай, Сафьев.

Сафьев молча пожал у Леонина руку и бросился в коляску.

На дворе уже было светло.

Леонин не говорил ни слова. Долго стоял он пред бабушкой своей. Оба потупляли глаза, оба молчали, и вдруг, по внезапному стремлению, старушка и юноша бросились в объятия друг друга...

XV

*55-е представление, в котором будет
участвовать г-жа Тальони.*

Афишки

В тот самый день, вечером, Тальони танцевала в Большом театре: давали новый балет – случай в Петербурге торжественный, Светская фешен, по праву своему присутствовать на первых представлениях, наполняла ложи и кресла. Всюду перья, шляпки, обнаженные плечи, блестящие лорнетки, и общий говор, и поклоны, и киванья из лож в кресла, из кресел в ложи. В воздухе было что-то праздничное; все наряды были наряднее, а толпа гуще, чем когда-нибудь. Все известные вельможи упирались на перила оркестра и разговаривали меж собой, отвечая от времени до времени почтительным поклонам из третьего и четвертого ряда кресел. Все обычные посетители театра были в белых галстуках и казались озабоченнее обыкновенного, перебегая от знакомого к знакомому, как будто виновники или участники в ожидаемом зрелище. Капельдинеры суетились около кресел, и последние пустые ложи первого яруса наполнились после предисловного акта русской оперы, которую слушают одни лишь помещики, приехавшие из деревни, да дети, наклоненные над ложей подле гувернера в очках.

В одной из лож первого яруса сидела, с бриллиантами на голове, новобрачная Кривухина, еще недавно пленявшая Коломну под именем мамзель Армидин. Подле нее униженно ежился начальник отделения, с Анной на шее, а между ними, в желтых перчатках, красовался известный нам господчик, который шутил и любезничал как можно громче, надеясь навлечь внимание зевак и выказать себя в первом ярусе лож, подле женщины в бриллиантах. Рядом с ложею г-жи Кривухиной сидела графиня Воротынская, всегда пышная, всегда дышащая каким-то невыразимым ароматом шегольства и женской миловидности. Она бросила самую обворожительную улыбку толстому генералу, стоящему у первого ряда кресел, за что обрадованный генерал с рыцарским подобострастием и значительной улыбкой наклонил к ней свою голову.

В ложе графини переменялись ежеминутно молодые франты в мундирах и в желтых перчатках, которые несли светский вздор, спрашивали, зачем сестры графини не было в театре, и шепотом говорили меж себя, что, по дневным слухам, уже помолвили ее за князя Щетинина.

Графиня отвечала полуответами, поправляя свои воздушные рукава и оборачиваясь, чтоб небрежно наводить двойной лорнет свой на ложи и разбирать женские наряды своих дружеских соперниц. О Леонине ни слова, ни ползвук; жив ли он был, пропал ли, куда пропал, зачем пропал – никто о том не спрашивал: Леонин был человек слишком ничтожный, чтоб обратить внимание света.

О поединке никто не знал, и никому не было надобности ни узнать, ни рассказывать о нем. Графиня казалась веселою и беззаботливою по обыкновению. Но опытный наблюдатель, по невольному движению ее бровей, легко мог заключить, что ее беспокоило какое-то нестерпимое преследование. И точно: в шестом ряду кресел, с пальцем, задетым за жилет, с вечной улыбкой, стоял Сафьев и неумоимо преследовал графиню своим пронзительным и обнажающим взором. Она чувствовала себя прикованною к магнетическому влиянию неподвижного взгляда, который высказывал насмешку, упрек и ненасытное мщение. Граф скрылся за пышным тюрбаном своей жены, уступив место с ней рядом какому-то важному сановнику. Но вот в театре волнение утихло, оркестр загремел, и балет начался. Публика ожила... Вдруг из боковой кулисы выпорхнула наша воздушная гостья с тамбурином в руках, легкая, как пух, не касаясь земли, порхнула она в три прыжка кругом сцены и вдруг остановилась и приветствовала своих северных поклонников. Толпа, безмолвная дотеле, вдруг встрепенулась, оживилась, и гром рукоплесканий, как бурный поток, разразился громче и громче и потряс своды театра. Все взоры засверкали, и все чувства помолодели, и, как бы оживляясь общим восторгом, Гитана приударила в тамбурин и понеслась резво и весело, то гордо расправляя руки, то как будто изнемогая под сладким бременем неги стыдливой и непонятной...

В это самое время на московской дороге, за Ижорою, тянулась бедная кибитка, при грустном жужжании колокольчика. На облучке сидел денщик, печально повесив голову. В кибитке лежал офицер.

Ночь была темная. Ветер выл по гладкой равнине, вздымая снежную метель, ослепляющую путников. Лошади едва передвигали ногами. Мрачно было в природе, мрачно было в душе офицера. Он лежал и думал.

Он думал, что ни за что схоронил заживо свою молодость; он думал, что в Петербурге осталась, и не для него, та, которая рождена была для него, та, которую он сам рожден был любить... Чем более он удалялся, тем более им овладевала мысль о Наденьке. Чувство, которое в нем рождалось к ней, не было мелочное, честолюбивое и взволнованное, как любовь его к графине, не было жеманное, как отношение его к Армидиной: оно было тихое, смешанное с глубокой грустью, с сознанием утраты невозвратимой, и в то же время в нем была какая-то мучительная отрада. Таково должно быть впечатление слепого, когда он чувствует, что воздух чист и благоуханен, что солнце греет, и догадывается только, что небо должно быть лазурно и необъятно хорошо. Образ Наденьки, как горестный упрек, врезывался все более и более в воображение молодого человека. Мыслью он был прикован к Петербургу...

А в Петербурге на его квартире, всю ночь горела свечка перед образом. Дрожащий свет, отражаемый золотистым окладом, тускло освещал исхудалую старушку в черном длинном платье, которая, поникнув головою, усердно молилась на коленях. То набожно сжимала она руки, то творила земные поклоны и шептала усердно молитвы, тогда как слезы, крупные слезы, невольно катились из дряхлых очей и сверкали одна за другою, падая по глубоким морщинам.